
10



АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

МОСКВА
1994



ISBN 5-7270-0012-2

СПАСИБО ВАМ, ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ

ВЕСТНИКУ "НОЙ" !

Александр АЛАВЕРДЯН

Вениамин ГОРОДЕЦКИЙ

Даниил ДОМБРОВСКИЙ

Дмитрий КРАСНОПЕВЦЕВ

Юлия КУНИНА-ТРУБИХИНА

Михаил ТЮТЮННИКОВ

Левон ХАЧАТРЯН

Борис ШАПИРО

Ованес ТУМАНЯН

(О НЕЗАВИСИМОЙ АРМЕНИИ)

Да, хорошая вещь - независимость. Не будем об этом говорить.

Но если армянский народ физически, экономически, морально не способен сам отстоять свою независимость, ни одно государство не возьмется его поддерживать и защищать - что ж ? Нам этого не надо.

Независимости, которая обернется для армян удавкой, которой нас будут душить, мы не хотим. И Армении, ставшей маленькой клеткой, с запертыми со всех сторон дверями, с одной только распахнутой дверью, открытой турецкому солдату, - мы тоже не хотим.

(1918?)

Пер. с армянского Г. АХВЕРДЯН

Марк ФРЕЙДКИН

ЭСКИЗ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА

Моим родителям:

Мирре Давидовне Клямер
и Иехиелю Соломоновичу Фрейдкину

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне всегда казалось немного странным и отчасти противоестественным вдруг ни с того ни с сего начать что-то рассказывать, не объяснив предварительно читателю или слушателю, почему, на мой взгляд, это уместно. Мне представляется, что любое повествование (будь то даже застольный анекдот) должно быть хотя бы отчасти подготовлено предыдущим течением разговора, и только тогда рассказчику позволительно произнести что-то вроде: "Кстати, по этому поводу мне хотелось бы рассказать..." Случается иногда - я хорошо это знаю по собственному застольному опыту - что порой умышленно подводишь общий разговор к такому моменту, когда тебе удобно вставить: "Кстати, в этой связи припоминается мне одна история..."

Впрочем, рассказчики большого полета чаще всего прекрасно обходятся без этого робкого "a propos". Они обычно начинают сразу: "Мой дядя самых честных правил..." или: "Все счастливые семьи похожи друг на друга...", нимало не заботясь, расположен ли кто-либо их слушать и, очевидно, полагая, что мотивы, побудившие их начать рассказ, могут быть выявлены чисто художественными, а не нарративными средствами. Или вообще не считая нужным предавать эти мотивы огласке. Такой творческой дерзости и отсутствию комплексов можно только от души позавидовать.

В моем же теперешнем случае, когда то, что я собираюсь предложить читателю, совершенно не претендует на художественность, и поскольку речь в моем повествовании пойдет не просто о

действительных событиях, произошедших с реальными людьми, а об истории моей семьи, о жизни моих родных и близких, мне вдвойне трудно удержаться, чтобы не сказать хотя бы нескольких вступительных слов. Тем более что все эти события я отнюдь не рассматривал как литературное сырье, не перерабатывал и не компилировал их ради каких-то художественных целей, а всего лишь постарался добросовестно, последовательно и по возможности нескучно изложить их на бумаге.

Честно говоря, я вовсе не уверен, что история моей семьи может и должна представлять интерес для кого-то еще, помимо ее членов (да и то далеко не всех). Поэтому первоначально я в предисловии хотел подвести под это дело какую ни на есть идеологическую базу, ввернуть "любовь к отеческим гробам" или что-нибудь в таком роде. Но теперь мне это кажется излишним.

Скажу лишь, что побуждением к написанию этой хроники или, если вернуться к тому, с чего я начал, тем моментом в течении моей жизни, когда для меня оказалось возможным и естественным произнести это пресловутое "a propos", послужила тяжелая болезнь и смерть моего отца, которого я, к сожалению, слишком поздно начал воспринимать как близкого человека. А что касается моей рано умершей матери, то она вообще этого не дождалась. В молодые годы я излишне последовательно и демонстративно придерживался запальчивого утверждения юного Мандельштама: "Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны", и только гораздо позже, когда надуманный пафос изгоя и блудного сына стал во мне несколько утихать, я понял, сколько горя и незаслуженных обид я принес своим близким. Увы, к тому времени и дни моего отца были уже сочтены.

В субботу 21 мая 1983 года я с утра пришел к нему домой и полдня записывал его рассказы о наших предках и о нем самом. Конечно, мы успели очень мало и условились в ближайшие дни продолжить начатое. Но этому не суждено было осуществиться - назавтра отец умер. После его смерти я уже вдвойне почувствовал себя обязанным довести все это до конца. Правда, в силу различных причин я сумел по-настоящему взяться за работу только спустя два года. Но в конце концов мне удалось дополнить то, что я услышал от отца, рассказами других моих родственников и составить - очень поверхностно, обрывочно и местами, возможно, неточно - что-то вроде хроники нашей семьи.

Вот, собственно, те два абзаца, ради которых, если быть искренним, и писалось все это несколько неловкое и надуманное предисловие. Почему-то мне казалось важным познакомить читателя с

некоторыми моими в общем-то сугубо личными обстоятельствами, хотя, вероятно, в этом и нет особой нужды.

Впрочем, один момент на самом деле совершенно необходимо оговорить: поскольку, как я уже упоминал, речь в дальнейшем пойдет о действительных событиях и реальных людях, причем ни тех, ни других я ни в коей мере не собираюсь приукрашивать, то наверняка эти люди, или их дети, или их родные и друзья в каких-то случаях почтут себя задетыми, оскорбленными или даже оболганными. Скажу больше: что касается последнего, то у них могут оказаться для этого все основания, потому что я пользовался в качестве источника информации только устными рассказами уже очень немолодых людей, и они, разумеется, могли вольно или невольно, по ошибке, по слабости памяти, а иной раз и с каким-то умыслом исказить те или иные факты. Надо ли говорить, что я меньше всего имею целью кого-то очернить или обидеть, но, как бы то ни было, я должен заранее принести свои извинения тем, кто все-таки будет обижен, за весьма вероятные фактические неточности или неверные толкования.

Кроме того, если продолжать эти бесконечные оговорки, рожденные боязнью задеть обидчивых еврейских родственников, то необходимо отметить, что когда о ком-то из них я буду рассказывать более подробно, а о ком-то - менее, то это не потому, что я из-за каких-то личных пристрастий одних предпочитаю другим, а потому, что об одних мне удалось собрать какие-то сведения, а о других, к моему искреннему сожалению, - нет.

И еще: я хотел бы выразить свою признательность тем людям, чьи воспоминания и рассказы легли в основу этой хроники:

Аршавской Белле Исааковне,
Гельфанд Сарре Эммануиловне,
Лурье Еве Исааковне,
Клямеру Самуилу Моисеевичу,
Рогинской Двосе Иосифовне,
Слуцкер Фаине Григорьевне,
Фрейдкиной Асе Марковне,
Фрейдкину Евгению Львовичу,
Фрейдкиной Иде Соломоновне,
Фрейдкиной Любови Марковне,
Элькиной Эсфири Мееровне.

Ну вот, теперь, наконец, можно и начинать.

Моими родителями были, как явствует из посвящения, Иехиель Соломонович Фрейдкин и Мирра Давидовна Клямер.

Родители отца: Соломон Геселевич Фрейдкин и Ревекка Гиршевна Резникова.

Родители матери: Давид Моисеевич Клямер и Ревекка Семеновна Аршавская.

Родители деда по отцовской линии: Гесл-Лейб Фрейдкин и Гинеся Гензелева.

Родители бабушки по отцовской линии: Гирш Мовшевич Резников и Ита Мархасина.

Родители деда по материнской линии: Моисей Клямер, имя матери неизвестно.

Родители бабушки по материнской линии: Шмуел-Зуся Аршавский и Хая Файбусович.

Я назвал здесь все эти имена и фамилии основных действующих лиц моей хроники, чтобы читатель, разбираясь в тех замысловатых переплетениях и связях между ними, о которых, собственно, и пойдет речь, мог обращаться к этому списку как к справочнику, дабы не запутаться и не потерять нить повествования. А в том, что запутаться будет совсем несложно, читатель, я думаю, убедится с первых же страниц.

1. РЕБ ПЕЙСАХ ФРЕЙДКИН. ЕГО ДЕТИ И ВНУКИ

Несмотря на все усилия, мне не удалось углубиться в историю моих предков дальше шестого колена. Да и все сведения о моем прапрапрадеде, то есть о прадеде моего деда Соломона Фрейдкина и деде моего прадеда Гесл-Лейба Фрейдкина - ребе Пейсахе Фрейдкине, по сути дела, ограничиваются тем, что мне рассказывали, будто бы он похоронен в местечке Подобрянка на территории современной Белоруссии. Он, кажется, был выходцем откуда-то из Польши и потомком каких-то знаменитых польских раввинов. Впрочем, никаких точных свидетельств этому у меня нет, и вполне возможно, что он был и гораздо менее знатного происхождения. Известно однако, что в своем местечке и ближайшей округе реб Пейсах почитался как выдающийся мудрец, талмудист и чуть ли не святой, в знак чего на его могиле был зажжен светильник вечного огня. По рассказам, на этот светильник благочестивые евреи приходили молиться еще в начале 50-х годов нашего века, во что, положа руку на сердце, мне верится с трудом.

Вообще, я должен сразу предупредить читателя, что в моей хронике многое будет казаться ему (как, впрочем, и самому автору) сомнительным, недостоверным, а зачастую и противоречащим одно другому. Но, на мой взгляд, в этом нет большой беды: во-первых, различные толкования одного и того же события могут только обогатить повествование, а во вторых, они не в состоянии сколько-нибудь существенно изменить общую картину. Кроме того, необходимо добавить, что вопреки своему происхождению автор этих строк имеет самые дилетантские и поверхностные представления о еврейских бытовых, религиозных и культурных традициях, поэтому относиться ко всем его рассуждениям на эти темы следует по меньшей мере снисходительно.

Чем конкретно заслужил реб Пейсах такую признательность своих земляков, в чем именно проявлялась его необыкновенная мудрость, а также был он богат или беден, являлся ли лицом духовного звания или, напротив, торговцем или ремесленником, как он выглядел внешне, каковы были его душевные свойства и особенности характера, как, наконец, звали его жену - обо всем этом семейные предания Фрейдкиных умалчивают. Только 90-летняя праправнучка реб Пейсаха Сарра Эммануиловна Гельфанд сделала робкое предположение, что по профессии он был меламедом.

Мне, однако, кажется, что не следует чересчур буквально относиться ко всем этим разговорам о выдающейся мудрости и, тем более, святости. Скорей всего, это дань той наследственной склонности к мифотворчеству и литературному восприятию действительности, которой всегда отличались Фрейдкины и с проявлениями которой нам еще не раз придется встретиться. Но нужно признать, что, очевидно, реб Пейсах был достаточно незаурядной личностью - иначе просто трудно представить себе, чтобы память о нем дошла аж до шестого колена. Что же касается его индивидуальных особенностей, то они, по всей видимости, в полной мере являли собой весь джентльменский набор качеств, в комплексе создавших образ человека, которого называли в то время "а гутер ид" (хороший еврей), то есть еврей, свято чтущий религиозные каноны, искушенный в талмудических премудростях, отец семейства и, очевидно, довольно состоятельный человек. Можно лишь предполагать, что среди односельчан его выделяли гордость, склонность к самоанализу, независимость взглядов и суждений - качества, в большей или меньшей степени присущие всем его потомкам.

Не сохранилось и дат его рождения и смерти. По очень приблизительным подсчетам и с большой вероятностью ошибки можно прикинуть, что он родился около 1800 и умер около 1870 года.

У реб Пейсаха было двое сыновей: Соломон и Евель (Ейл). Старший, Соломон, мой прапрадед по прямой линии, отличался незаурядной физической силой. Про него рассказывали, что однажды он ударом кулака убил москаля, и мне очень бы хотелось надеяться, что это только метафора. Скорей всего, Соломон умер рано, поскольку почти никто из моих родственников о нем не упоминал, и в первоначальном варианте хроники он у меня вообще отсутствовал, в то время как его младший брат Евель фигурировал в качестве брата самого реб Пейсаха (своего отца). И только уже упоминавшаяся С.Э.Гельфанд восстановила справедливость. С ее слов, кстати, я смог вычислить и приблизительную дату рождения реб Пейсаха. Предлагаю эти вычисления читателю, дабы он мог видеть, на какой зыбкой почве строятся многие из моих рассуждений:

Сарра Эммануиловна рассказывала мне, что в детстве (а значит, примерно в 1905-10 годах) она не раз гостила в Сураже у "дедушки Евеля", который, подобно своему отцу, был меламедом, а в свободное от основной работы время так замечательно играл на флейте, что Сарра Эммануиловна. не может забыть этого до сих пор. "Дедушка Евель" был тогда уже очень стар (допустим, ему было лет 70-75). Значит, он родился где-то в 1835-40 годах, когда его отцу (если отбросить предположение, что Евель был слишком ранним или слишком поздним ребенком) могло быть от 20 до 50 лет. Соответственно, реб Пейсах родился между 1780 и 1820 годом. Что же касается даты его смерти, то ее я вычислил уже исходя из имен его внуков от старшего сына Соломона. У Соломона было пятеро детей: Фрейда, Хася, Сарра, Герцул и Гесл-Лейб. Точной их последовательности мне установить не удалось, но все сходятся на том, что младшим был именно Гесл-Лейб (мой прадед), который умер в 1887 году очень молодым (во всех воспоминаниях неоднократно фигурировало, что его жене Гинесе Гензелевой было тогда всего 26 лет). Допустим, самому Гесл-Лейбу было тогда около 30. Значит, он родился ориентировочно в 1857 году. Как известно, по еврейским обычаям детей нельзя называть именами живых родственников, а наоборот, полагается давать новорожденным имена родственников недавно умерших и по возможности самых близких. Это делалось, как я понимаю, не столько для того, чтобы отдать дань уважения умершему человеку, сколько для того, чтобы создать в мировом пространстве иллюзию непрерывности человеческой жизни. Исходя из вышесказанного, с большой долей вероятности можно предположить, что если бы реб Пейсах умер до рождения одного из своих внуков (Герцула или Гесл-Лейба), то кого-то из них скорей всего назвали бы его именем. А так как этого не произошло, то, значит, он

умер не раньше 1857 года (хотя и эта дата весьма условна). А если знать, что средний сын Гесл-Лейба, Пейсах, родился около 1880 года и был, без сомнения, назван в память знаменитого прадеда, то получается, что реб Пейсах умер между 1857 и 1880 годом. Уточнить все эти цифры, к сожалению, не представляется возможным, поэтому я только позволил себе в предыдущем абзаце немного сузить гипотетический промежуток с 1780-1880 до 1800-1870.

Поскольку то немногое, что мне известно о детях реб Пейсаха, Соломоне и Евеле, я успел уже между делом рассказать, то мне не остается ничего другого, как перейти к его внукам. Я уже упоминал, что у его старшего сына Соломона было пятеро детей: Фрейда, Хася, Сарра, Герцул и Гесл-Лейб. В этом ряду я до определенной степени могу ручаться только за первый и пятый номера. Во всяком случае, от нескольких человек я слышал, что младшим был именно Гесл-Лейб и (с меньшей уверенностью), что старшей была Фрейда. Остальных трех внуков и внучек реб Пейсаха от старшего сына я расставил вполне произвольно, руководствуясь такими незначительными нюансами в рассказах моих родственников, что переносить все это на бумагу - слишком долгое и неблагодарное занятие.

Что же касается Евеля, то точное количество его детей мне неизвестно вообще. Я знаю только, что у него было двое или трое сыновей, которые в полном составе эмигрировали в Америку еще с первой волной еврейской эмиграции (возможно, одним из их потомков был известный американский издатель Израиль Фрейдкин, чьи даты жизни - 1890-1939 - мне сообщили из Музея еврейской диаспоры), и дочь Хаше-Хана, которая жила в Клинцах со своим мужем Хайкиным и сыновьями Генахом, Лейзером и Хаимом. Рассказывали мне, что у Евеля было еще две дочери, которые жили в Новозыбкове и погибли во время немецкой оккупации, но даже их имен никто не смог вспомнить.

А все пятеро детей моего прапрадеда Соломона и, скорей всего, он сам жили в местечке Красная (или Попова) гора, что на западе современной Брянской области.

Надо полагать, что реб Пейсах жил там, где и был похоронен - в Подобрянке, а его сыновья уехали (Соломон - в Красную гору, а Евель - в Сураж) по месту жительства своих жен, имена и фамилии которых, к сожалению, безвозвратно канули во мраке лет. Интересно, что в еврейских местечках гораздо чаще муж приходил жить в семью жены, чем наоборот, и более того, родители жены, как правило, должны были еще несколько лет его содержать - вероятно, это была одна из форм приданного. Очевидно, благодаря такому обычаю Фрейдкины и обосновались в Красной горе, где, начиная с Соломона, жило четыре

поколения моих предков по отцовской линии: мой прадед Гесл-Лейб, мой дед Соломон-младший и мой отец Иехиель. Впрочем, если говорить о моем отце, то он прожил в Красной горе только первые пять лет своей жизни. Но не будем забегать вперед.

2. НЕМНОГО О ГЕОГРАФИИ

Прежде чем продолжать, мне хотелось бы здесь, чтобы больше уже к этому не возвращаться, немного разобраться с географией, осуществить, так сказать, привязку к местности. Итак, почти все мои предки и родственники по отцовской линии жили до конца 20-х годов в Красной горе. А вся родня по материнской линии - в 30 км юго-восточнее, в Клинцах. Здесь, впрочем, следует оговориться, что мне неизвестно точно, откуда был родом отец моей матери, Давид Моисеевич Клямер. Но можно с уверенностью утверждать, что он тоже не приехал из-за моря. По одним данным, он жил в тех же Клинцах, по другим - в соседнем Сураже. Хотя есть основания предполагать, что Клямеры не являлись коренными жителями этих мест, а перебрались сюда из Литвы только где-то в начале нашего века. Упоминалось даже конкретное название их исторической родины: литовское местечко Ушколь.

Таким образом, все основные события первой части моей хроники происходили в Красной горе, Клинцах и в их окрестностях - Новозыбкове, Климове, Сураже, Миговке и др.

Если на карте современной Брянской области начертить окружность радиусом около 100 км с центром в Клинцах, то в эту окружность полностью впишутся все те городки и местечки, из которых разлетелись по белу свету мои многочисленные родственники, повторив в миниатюре все тот же основной сюжетный мотив истории моего народа.

Население в этих небольших городках было смешанным - русско-белорусско-еврейским, и образ жизни в них немногим отличался от деревенского: одноэтажные деревянные дома, русские печи, огороды, домашний скот, удобства во дворе и т.д. Располагались они далеко в стороне от больших дорог, важных стратегических направлений и крупных залежей полезных ископаемых (в Клинцах, впрочем, были большие сукновальные фабрики), и люди жили там тихо, спокойно и несуетно, замкнувшись в тесном кругу местечковых интересов, - короче, провинция в полном смысле этого слова.

Никаких значительных исторических событий и особо ярких проявлений антисемитизма там не наблюдалось. По крайней мере никто

из моих родственников ни о чем таком не упоминал. Вероятно, славяне и семиты уживались в этих краях довольно мирно. Хотя, конечно, в благословенном 1905 году погромы имели место и там. Но проходили они с несравнимо меньшим размахом и энтузиазмом, чем в более южных губерниях черты оседлости. Так, в Сураже и в Новозыбкове было лишь несколько жертв, а в Клинцах и Красной горе погром вообще носил чисто формальный характер, вроде недавних митингов трудящихся в знак протеста против израильской агрессии. Впоследствии, разумеется, революционные и послереволюционные катаклизмы не обошли стороной и это счастливое захолустье, но о них мы расскажем в свой черед.

Насколько мне известно, эти тихие места (в отличие, скажем, от сравнительно недалекого Витебска) не дали миру сколько-нибудь выдающихся деятелей науки и культуры. Можно вспомнить разве что писателя Эм.Казакевича, с которым я имею честь состоять хоть и в очень отдаленном, но все же родстве. Зато этот край оказался богатым на революционеров и политических деятелей. Земляками моих предков были такие известные и отчасти одиозные фигуры, как Подвойский (уроженец Красной горы), Литвинов (уроженец Суража), Каганович (тоже уроженец Суража) и даже генерал Драгунский (кажется, уроженец Святска).

Летом [illegible] года (меньше чем через месяц после Чернобыльской катастрофы) я впервые в моей жизни съездил туда. Внешне эти места не производят большого впечатления - обыкновенные милые среднерусские пейзажи, самую малость тронутые уже "степным дыханьем юга". В городках не сохранилось практически ничего от еврейских местечек, если не знать, что райпотребсоюз в Красной горе располагается в том доме, где родился мой отец, а Новозыбковский райисполком - в здании бывшей синагоги.

Мне, впрочем, трудно судить, были ли вообще у еврейских местечек какие-то внешние отличительные черты, кроме, собственно, наличия в них евреев. А этих последних, в том числе и моих родственников, там теперь осталось раз, два и обчелся. Те, кто не уехал в эвакуацию во время войны, естественно, погибли, а из тех, кто уехал, вернулись на родину очень немногие. Хотя, надо сказать, что процесс исчезновения еврейских местечек и переселения евреев в большие города начался задолго до войны - еще с первых послереволюционных лет. Коллективизация ускорила его, а война только завершила.

Наверно, можно было более подробно рассказать о том, что я увидел на родине моих предков, описать живописные окрестности и полуразрушенные заброшенные кладбища, оживить повествование

названиями местных рек (Беседь, Полонка) и исторических районов этих городков (Матвеевщина, Почетуха), пояснить читателю, что Красная гора имела второе название Попова гора по той простой причине, что в большом доме на горе там жил православный священник - отец Василий Спасский; но я не мастер описывать. Да и нужно ли это? Как писал цитированный в предисловии поэт:

"Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же".

3. ФРЕЙДА ФРЕЙДКИНА, ЕЕ МУЖ ЯНКИФ КАГАН, ИХ ДЕТИ И ВНУКИ

Итак, у Соломона Фрейдкина было пятеро детей, и старшей мы условились считать Фрейду.

По рассказам, Фрейда отличалась невероятной чистоплотностью, любовью к бане и другим водным процедурам. Но этим, достойным, разумеется, всяческого внимания, фактом, увы, исчерпывается вся моя информация об ее душевных качествах и особенностях ее характера.

Ее мужем был весьма уважаемый в Красной горе человек - реб Янкиф Каган. Как и в случае с реб Пейсахом Фрейдкиным, мотивы этого уважения остались неизвестными, тем более что по моим сведениям реб Янкиф не слишком свободно владел грамотой и даже с основными действиями арифметики управлялся не без некоторых трудностей, каковое обстоятельство, впрочем, не мешало ему содержать лавочку. Особенно если принять во внимание, что занималась ею, как это часто бывало у евреев, в основном его жена. Причем делала это с таким самозабвением и энтузиазмом, что однажды утром, торопясь открыть ее, спросонья выбежала на улицу в одном нижнем белье на радость всему местечку.

К сожалению, реб Янкиф Каган рано умер (когда умерла сама Фрейда, мне неизвестно, но, по словам моей тети, Иды Соломоновны Фрейдкиной, в 1921 году Фрейда была еще жива, так как тетя Ида упоминала, что семью Фрейды вместе с семьей моего прадеда Гирша Мовшевича Резникова приютил после красногорского пожара 1921 года местный православный священник отец Василий Спасский), и по этой уважительной причине Фрейда не оставила столь многочисленного потомства, как, скажем, ее сестра Хася или брат Герцул. Она успела произвести на свет только сына Пейсаха и двух дочерей: Рошу (вероятно, уменьшительное от "Рахиль") и Двосю.

Пейсах был женат на дочери раввина из местечка Дубенцы (на полдороге между Красной горой и Суражем) и жил там. Роша со временем вышла замуж и уехала с мужем в Америку. На этом ее следы совершенно обрываются - неизвестна даже фамилия ее мужа. Вообще, как читатель увидит из дальнейшего, в Новом Свете обитает довольно много моих дальних и близких родственников, так что если их всех собрать в одно место, то могла бы получиться весьма внушительная колония.

Что же касается Двоси, то она осталась в Красной горе и вышла замуж за местного уроженца Эле-Берла Ривкина. О нем рассказывают, что это был весьма умный, энергичный и образованный человек, после революции ставший коммунистом и партийным деятелем. В двадцатых годах он, вместе с другим моим родственником Ейсеф-Залменом Резниковым, о котором я еще буду говорить, организовал в селе Миговка Климовского района еврейскую сельскохозяйственную артель-коммуну "Единение". Ейсеф-Залмен был ее председателем, а Эле-Берл - бухгалтером. Но невзирая на свою образованность и партийную принадлежность, а может быть, и благодаря им, Эле-Берл слыл в Красной горе большим любителем и убежденным сторонником анонимного доноса как незаменимого средства в борьбе с личными недругами. Так, не лишено оснований предположение, что именно с его подачи был в свое время исключен из партии вышеупомянутый Ейсеф-Залмен Резников. Не будем, впрочем, делать окончательных выводов. История эта давняя, темная, и бог с ней.

У Двоси Каган и Эле-Берла Ривкина было четверо детей:

1. Давид Ривкин. Военный. Служил где-то на Дальнем Востоке. В родне с уважением поговаривали, что он "засекречен". В тридцатых годах его засекреченность достигла своей высшей точки - в один прекрасный день он, по обыкновению тех лет, исчез, и больше никто, включая его жену и детей, его не видел и ничего не мог о нем узнать - вероятно, он был репрессирован.

2. Мейлах Ривкин. Жил в Москве. Работал преподавателем математики в техникуме. Умер от инфаркта в начале 70-х годов.

3. Роза Ривкина. Жила уединенно, в стороне от всех родственников, ни с кем не поддерживала отношений. Никто из родни толком о ней ничего не знал. Ходили смутные слухи, будто бы она была не вполне здорова психически, но степень их достоверности в таких случаях бывает очень трудно определить.

4. Гута Ривкина. Жила с мужем где-то в Сибири. После смерти жены к ней переехал из Красной горы Эле-Берл. Там у нее на руках он и скончался.

Можно легко заметить, что мои сведения о Фрейде Фрейдкиной и ее семействе носят крайне обрывочный и сумбурный характер, и я должен предупредить читателя, что и в дальнейшем, за редкими исключениями, его не ждет ничего другого. Хотя, наверное, если б я не поленился найти, к примеру, кого-нибудь из детей жившего в Москве Мейлаха Ривкина, я бы, без сомнения, смог узнать об этой семье что-нибудь еще. Но почему-то такая ненавязчивая обрывочность мне кажется более достоверной и объективной, чем нарочитая дотошность. К тому же, если представить себе, что мне бы удалось собрать сколько-нибудь полную информацию о более чем 200 известных мне живых и умерших родственниках, то до каких же необъятных размеров разрослась бы моя и без того трудно читаемая хроника? Да и потом, что такое "подробная информация"? Не хочется говорить банальности, вроде: "человеческая жизнь неисчерпаема..." Так что пусть уж лучше все останется как есть.

4. ХАСЯ ФРЕЙДКИНА И ЕЕ МУЖ БИНЕМИН ЛИВШИЦ. ИХ ДЕТИ И ВНУКИ

Вторая дочь Соломона Фрейдкина, Хася Фрейдкина, была замужем за Бинемином (Вениамином) Лившицем, владельцем кожевенного зазода и крупорушки.

Лившицы были большой (только у Бинемина было 37 внуков и внучек) и богатой семьей. И если Фрейдкины слыли по всей округе "аристократами" и гордецами, то Лившицы пошли в этом направлении еще дальше. Высокомерие, с которым они относились ко всем тем, кого они считали людьми более низкого происхождения, граничило с чванством. Эти издержки аристократизма (немного позже я попытаюсь как-то разъяснить, что имею в виду, когда говорю о еврейском аристократизме, и тогда читатель сможет увидеть, были ли основательными претензии Лившицев) в конце концов и привели к тому, что Фрейдкины-Лившицы разошлись с остальными Фрейдкиными именно, если можно так выразиться, говоря о еврейских семьях, по сословным мотивам.

С.Э.Гельфанд показывала мне фотографию Хаси Фрейдкиной и Бинемина Лившица, где им обоим лет примерно по 50. Конечно, по фотографии почти столетней давности трудно делать какие-то выводы. Так, мне не удалось разглядеть на лице у Хаси ничего, кроме властно поджатых тонких губ и общего выражения некоторой суровости. Что же касается Бинемина, то я бы хотел сказать следующее: из всех его крайне многочисленных (см. ниже) потомков мужского пола я видел

воочию только его внука, Лейба Пейсаховича Фрейдкина (сына дочери Бинемина Баси и уже упоминавшегося Пейсаха Фрейдкина-младшего) и его правнука Женю. Так вот, хотя Лейб Пейсахович по праву носил фамилию Фрейдкин, его внешнее сходство с дедом, Бинемином Лившицем настолько поразительно, что буквально потрясает воображение. Не знаю, возможно, это произвело на меня такое сильное впечатление, потому что я помню Лейба Пейсаховича примерно в том же возрасте, в котором запечатлен на фотографии Бинемин. А может быть, это какое-то общее необъяснимое свойство старых фотографий - схватывать самые характерные фамильные черты. Во всяком случае, в дальнейшем нам еще придется столкнуться со случаями такого же удивительного сходства.

Хася и Бинемин занимали в Красной горе лучший дом с роялем из красного дерева и прочими атрибутами местечковой роскоши. В семье было 13 детей, из которых выжило 10. Возможно, я не совсем точен в их последовательности.

1. Рейза Лившиц. Она считалась самой красивой среди всех сестер и вышла замуж за своего двоюродного брата Мендла Гельфанда, сына Сарры Фрейдкиной и Мордехая Гельфанда. В юности Мендл Гельфанд собирался стать раввином и учился в ешиботе, но затем круто изменил свои жизненные планы и в конце концов стал крупным лесопромышленником, имевшим даже торговлю с заграницей. Со своей женой Рейзой они безбедно жили в большом арендованном имении неподалеку от Суража и нажили шестерых детей: дочерей Сарру (это и есть уже неоднократно цитированная Сарра Эммануиловна Гельфанд, единственная к моменту написания хроники оставшаяся в живых из своих братьев и сестер), Эльку, Годл и Стеллу и сыновей Лейба и Соломона, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Сарра Эммануиловна описывает свое детство в самых светлых и радужных тонах: хорошая, дружная, интеллигентная семья, большой светлый дом среди прекрасного леса, теплое парное молоко по утрам, изобилие свежих овощей, фруктов и ягод - можно только позавидовать. Тем не менее, среди младших Фрейдкиных, ради острого словца не щадивших никого, об этой семье была сочинена (и даже дошла до меня) довольно непристойная и достаточно бессмысленная частушка:

Фетер Мендл
Какт ин фендл,
Муме Рейзе
Какт ин фейзе

(Дядя Мендл
какает в кастрюлю,
Тетя Рейза
какает в бак для теста).

2. Сарра Лившиц. Жила в Красной горе со своим мужем Борухом-Иче Гринфельдом. У них было пятеро детей: Давид, Фрейда, Соломон, Яков и Гензл. Осенью 1917 года Сарра была одной из самых активных участниц исторической ссоры между Фрейдкиными и Лившицами по поводу женитьбы моего деда Соломона. Впрочем, вскоре вся их семья отправилась в Палестину, где при загадочных и невыясненных обстоятельствах погиб их младший сын Гензл. После этой трагедии они вернулись на родину и жили в Гомеле.

3. Азриел (Израиль) Лившиц. Был, пожалуй, самой колоритной фигурой среди всех Лившицев, хотя в родне пользовался устойчивой репутацией афериста и человека, который в своих делах не слишком обременял себя соображениями порядочности. Как старший сын, он унаследовал от отца крупорушку. Кроме того, имел собственный дом в Клинцах, где жил со своей женой Хаей Маневич и детьми Гришей, Соломоном, Аркадием, Львом, Фаней и Асей. Причем жена была намного старше его, ухаживала за ним, как за ребенком, и читала ему вслух газету после обеда. Азриел очень не ладил со своим отцом, неоднократно с ним ссорился, чуть ли не дрался и даже пытался поджечь отцовский дом. Но если этот поджог ему, к счастью, не удался, то в поджоге своей собственной крупорушки он, кажется, преуспел и получил крупную страховку. Позже Азриел сумел запутать в своих делах какого-то русского помещика и кончил тем, что за долги переписал на себя его имение. После раскулачивания Азриел со всей семьей переехал в Новозыбков, где и погиб во время немецкой оккупации. Из всех похождений Азриела мне наиболее подробно известна история его ареста в 30-х годах, но об этом я буду рассказывать значительно позднее.

4. Пейсах Лившиц. Был старостой красногорской синагоги и имел непонятное прозвище "Столетник". Он жил со своей женой Лией Рахленко в родительском доме, и у них была единственная дочь, названная в честь бабушки Хасей. Она уехала учиться в Москву, вышла там замуж, и в 20-х годах Пейсах с Лией переехали к ней.

5. Давид Лившиц. Служил в русской армии. Позже жил со своей женой Рахилью Шейниной в Святске. Их дети: Ева, Ася, Фрейда, Доня, Эфраим и Пиня.

6. Бася Лившиц. Была замужем за своим двоюродным братом Пейсахом Фрейдкиным, сыном Гесл-Лейба Фрейдкина и родным братом моего деда Соломона. О ней и о ее семье я буду более подробно рассказывать в главе, посвященной ее мужу.

7. Хана Лившиц. Была замужем за меламедом Хаимом Маевым. У них было три дочери: Ева, Ася и Рая. Все они были медицинскими сестрами.

8. Рися Лившиц. Моя несостоявшаяся бабушка.Она была косвенной причиной упоминавшейся ссоры между Фрейдкиными и Лившицами, поскольку именно ее Лившицы безуспешно пытались выдать замуж за моего деда Соломона. Причем я видел ее фотографию и могу заявить со всей ответственностью, что, помимо прочих достоинств (богатого приданого), она была и очень хороша собой, так что моему деду, очевидно, потребовалось известное мужество, чтобы отказаться от такой партии. Но об этом в свое время. А отвергнутая Рися вскоре вышла замуж за своего дальнего родственника Нахмена Казакевича и умерла родами.

9. Соломон Лившиц. Жил в Ленинграде. Был профессиональным военным. Дослужился до майора. В его жизни было много трагических событий. Его жена Доня как-то поехала в Крым навестить свою мать. Там она случайно опрокинула на себя горящий примус, получила сильные ожоги и через несколько дней умерла. Его старшего сына, чье имя мне, к сожалению, не удалось установить, в 30-годах насмерть задавили в переполненном трамвае. Его младший сын, Беня, был от рождения глухим. После войны он собрался жениться на какой-то никому не известной девице, кажется, дочери еврейских беженцев из Франции. Но незадолго до своего бракосочетания Беня на работе опрометчиво дал кому-то переписать ходившую тогда по рукам известную фальшивку - письмо Алигер Эренбургу. На него донесли, и сразу после регистрации брака у дверей ЗАГСа Беня был арестован. Тем не менее, его легкомысленная супруга поселилась у своего свекра, но после нескольких неудачных попыток соблазнить давно вдовевшего Соломона и переписать на себя его жилплощадь исчезла в неизвестном направлении, расторгнув предварительно брак с незадачливым Беней. Вскоре Соломон умер, не дождавшись возвращения на свободу своего сына. Беня, выйдя из заключения, женился на своей двоюродной сестре Рае - дочери Ханы Лившиц. Их сын Сеня живет сейчас в Ленинграде.

10. Лейба Лившиц. Женился на своей двоюродной сестре Иде, одной из дочерей Герцула Фрейдкина. В 37 году был репрессирован и сослан в Магадан, где, очевидно, и погиб. У него было четверо детей: Сарра, Фаня, Беня и Ася. Сарра вышла замуж за сына Давида Лившица,

Пиню, и живет в Ленинграде. Там же живет и Фаня. Ася еще ребенком погибла в Новозыбкове во время бомбежки. Беня живет в Челябинске и работает директором школы. Мой дед Соломон дружил с Лейбой Лившицем, хотя и очень недолюбливал его старших братьев.

Мне известно, что одна из внучек Хаси Фрейдкиной и Бинемина Лившица, Хася, дочь Баси Лившиц и Пейсаха Фрейдкина, родилась в 1918 году (или в самом конце 1917 года). Если предположить, что ее назвали в честь бабушки, то Хася Фрейдкина-старшая умерла не позже этого времени. Когда умер Бинемин Лившиц, мне неизвестно, но если руководствоваться аналогичными рассуждениями, то он должен был пережить свою жену лет на 5-7.

Вот, в общих чертах, и все о семье Фрейдкиных-Лившицев. Хотя в дальнейшем по ходу повествования мне еще не раз придется к ним возвращаться. Если же говорить о каких-то общих особенностях этой семьи, то, пожалуй, можно сказать, что в сочетании со своенравной, энергичной и хваткой породой Лившицев Фрейдкины, за редкими исключениями, утрачивали ту доминацию духовного начала, которая шла еще от знаменитого реб Пейсаха и которая, к счастью, сохранилась в других ветвях нашей фамилии. Я вполне отдаю себе отчет, насколько голословным, ни из чего не вытекающим, а потому и неубедительным может показаться подобное утверждение. Впрочем, читатель волен принимать или не принимать это на веру по своему усмотрению.

5. САРРА ФРЕЙДКИНА И МОРДЕХАЙ ГЕЛЬФАНД. ИХ ДЕТИ

К сожалению, эта глава будет очень короткой, потому что практически никаких сведений о Сарре Фрейдкиной и ее муже Мордехае Гельфанде у меня нет. Я знаю только, что жили они в Красной горе, что Мордехай Гельфанд, кажется, был меламедом, что у них было трое дочерей: Ханета, Лина и Церля, - и что при рождении своего единственного сына Мендла, который впоследствии стал мужем Рейзы Лившиц и все сведения о котором я уже сообщил, когда говорил о ней, Сарра умерла. Ни о дальнейшей жизни Мордехая Гельфанда, ни о судьбе его дочерей Ханеты, Лии, вышедшей замуж за раввина из местечка Любавичи (разумеется, не за знаменитого любавичского ребе, а за скромного раввина из скромного одноименного местечка на Брянщине, которого уже нет на современных картах, как нет на них и многих других местечек, упоминающихся в нашем повествовании - Дубенцы, Миговка и пр.) и Церли, оставшейся старой девой, мне совершенно ничего неизвестно. Должен признаться, что первоначально

вся эта ветвь вообще отсутствовала в моей хронике, пока все та же С.Э.Гельфанд не открыла мне глаза на существование этих людей. Но и она, увы, не много смогла о них вспомнить.

6. ГЕРЦУЛ ФРЕЙДКИН. ЕГО ЖЕНЫ, ДЕТИ И ВНУКИ

Герцул Фрейдкин был женат дважды, и первой его женой была Рахиль Казакевич, родная тетка известного писателя. Она родила Герцулу пятерых детей: Пейсаха, Моисея, Двосю, Геню и Алтера. От второй жены, Хаи Бучавер, у Герцула было еще шесть детей: Хана, Ида, Рися, Фаня, Вевл и Маня. Таким образом, всего Герцул Фрейдкин произвел на свет 11 детей. Сам Герцул был владельцем и одним из немногочисленных рабочих небольшого кожевенного завода в Красной горе.

С этим кожевенным заводом у меня долгое время происходила какая-то путаница. Одни родственники его приписывали Бинемину Лившицу, другие - Герцулу Фрейдкину. И только совсем недавно мне удалось узнать то, до чего я, наверное, мог бы додуматься и сам и что почему-то мне не приходило в голову: этот кожевенный завод на паях принадлежал им обоим.

Благодаря щедрости Фаины Григорьевны Слуцкер, единственной к моменту написания хроники оставшейся в живых дочери Герцула Фрейдкина у меня есть две его фотографии. И хотя Герцул представляет собой четвертое колено, и притом побочной ветви по отношению ко мне и тем Фрейдкиным, которых я видел въяве, нельзя не поразиться удивительному фамильному сходству, что лишний раз говорит о крепости породы Фрейдкиных и отчасти объясняет, почему все ее представители так обостренно ощущают свою принадлежность к ней.

Особенно хороша более ранняя фотография, на которой Герцулу около 45-50 лет. Огромный лоб, ясные, светлые глаза, внушительная осанка - и совершенно отчетливо видны черты и мои, и моего отца, и моего деда - вплоть до формы руки, лежащей на колене. Вторая, значительно более поздняя фотография, как это ни странно, гораздо хуже по качеству и вообще менее выразительна. На ней изображен почтенный еврейский старец со своей почтенной супругой, но, если бы я не знал, кто это такой, мне бы и в голову не пришло, что это мой родственник.

До 1930 года Герцул жил в Красной горе. Он также принимал участие в деятельности уже упоминавшейся артели-коммуны "Единение" и даже, по словам Фаины Григорьевны, состоял одно время ее

председателем. А потом, когда, как выразилась одна моя родственница, "хороших людей начали трусить", он переехал в Новозыбков, где жили в то время его уже взрослые дочери, и поселился у одной из них - Иды, которая работала в то время в Новозыбковском торге. Там он и прожил вплоть до 1941 года, когда все они уехали в эвакуацию. В 1943 году в Средней Азии на станции Милютинская Герцул умер, дожив почти до 90 лет.

Его дети от первого брака:

1. Пейсах Фрейдкин. Не имея никакого образования, был главным бухгалтером одного крупного завода в Воронеже. Во время войны умер от тифа в Бугуруслане.

2. Моисей Фрейдкин. Никаких сведений о нем у меня нет.

3. Двося Фрейдкина. Рано вышла замуж за учителя Бабина и уехала с ним в Бердянск. Их сын Фаля (Рафаил) долгое время работал в "Литературной газете". Свои статьи подписывал Н.Бабин или Н.Семенов. По природной, но отнюдь не наследственной лени я не удосужился найти и прочесть эти статьи, хотя это, наверное, было совсем несложно сделать.

4. Геня Фрейдкина. Долгое время жила с мужем в Крыму, но в конце 30-х годов, очевидно после его смерти, возвратилась в Новозыбков. В начале войны вместе с сестрами и отцом уехала в эвакуацию. Сразу после освобождения Новозыбкова вся семья, кроме умершего Герцула, вернулась обратно, но, к сожалению, это оказалось опрометчивым решением. Фронт был еще недалеко, и 22 июня 1944 года, во время бомбежки новозыбковского железнодорожного узла, немецкая бомба угодила прямо в их дом, который стоял всего в сотне метров от здания вокзала. Геню с вывороченными внутренностями и ее маленькую племянницу Асю (дочь Иды Фрейдкиной и Лейбы Лившица) нашли мертвыми во дворе под обломками. При этой бомбежке была ранена в голову и сестра Гени, Фаня. Дочь Гени, Люба, была замужем за заведующим клинцовским гороно, неким Синельниковым. Она не успела эвакуироваться из Клинцов, была расстреляна вместе со своими двумя детьми и зарыта в общей могиле.

5. Алтер Фрейдкин. При рождении был назван Гесл-Лейбом в память своего покойного дяди (моего родного прадеда), но когда в детстве он тяжело заболел, по еврейскому обычаю (чтобы обмануть смерть), ему дали новое имя - Алтер, и он выжил. У меня есть его фотография, где он снят в военной форме еще царской армии, и если бы не эта форма, я бы ни на секунду не усомнился, что на фотографии мой отец. Алтер с семьей жил в Почепе.

Дети от второго брака:

6. Хана Фрейдкина. Кажется, никогда не была замужем. Жила в Новозыбкове, работала агрономом на опытной станции по растениеводству. Умерла в 70-х годах.

7. Ида Фрейдкина. Была замужем за Лейбой Лившицем. Все, что мне известно об их семье, я уже сообщил, когда рассказывал о нем.

8. Рися Фрейдкина. По специальности была врачом. Жила в Новозыбкове. Ее дочь Рему в свое время безуспешно сватали за моего отца.

9. Фаня Фрейдкина (по мужу - Слуцкер). Единственная из детей Герцула, которую я в 1986 году застал в живых. По профессии - учительница начальной школы. Ее муж, Калмен Слуцкер, родом из Клинцов, погиб на фронте в 1943 году. Дети живут в Ленинграде. Я навестил Фаину Григорьевну в Новозыбкове во время своей поездки в те края. Она прекрасно держалась в свои 84 года. Хорошо поставленным "учительским" голосом она рассказала мне много интересного. В частности, о том, как она, когда сослали в Магадан мужа ее сестры Иды, Лейбу Лившица, ходила ходатайствовать за него на прием к Ежову. Она, впрочем, не уверена, что принимал ее сам Ежов, и скорей всего, это, конечно, действительно был не он, но Фаина Григорьевна хорошо помнит, с какой отменной вежливостью разговаривал с ней этот псевдо-Ежов и как он любезно предложил, чтобы не разрушать семью, отправить в Магадан их всех.

Фаина Григорьевна вышла замуж в 1929 году, жила с мужем сначала в Клинцах, потом в Почепе.

10. Вевл (или Володя) Фрейдкин. С 30-го года жил с женой Фирой в Ташкенте. Умер в 1978 году. Известно, что когда в 1952 году мой отец вез мою мать из Москвы в Ленинабад, чтобы сыграть там свадьбу, по дороге они заезжали к Володе. Володя дружил со своим сводным двоюродным братом Эм.Казакевичем и часто бывал у него в Москве.

11. Маня Фрейдкина (по мужу - Клебанова). Считалась самой красивой и удачливой из своих сестер. Окончила химический факультет Минского университета. Жила в Новозыбкове и преподавала в местном пединституте.

Я бы не хотел обидеть никого из потомков семьи Лившицев, но у меня почему-то сложилось впечатление, что семья Герцула Фрейдкина (хотя сам он, по словам его дочери, Фаины Григорьевны, был весьма малограмотным человеком) в целом была более культурной, чем семья Лившицев. От фотографий дочерей Герцула - Двоси, Риси, Мани, от облика Фаины Григорьевны у меня осталось ощущение какой-то тихой

провинциальной интеллигентности, вызывающей, быть может, несколько анахроничные ассоциации с рассказами Чехова и Бунина. Впрочем, все это, конечно, очень субъективно.

7. ГЕСЛ-ЛЕЙБ ФРЕЙДКИН И ЕГО ЖЕНА ГИНЕСЯ ГЕНЗЕЛЕВА. ИХ СТАРШИЙ СЫН МЕЕР И ЕГО ДЕТИ

Подобно своему брату и трем сестрам, мой прадед Гесл-Лейб жил в Красной горе. У него была красавица жена Гинеся, которая происходила, по выражению Лившицев, из бедной, но талантливой семьи Гензелевых. (Обратите внимание на союз "но" - почему бы не сказать "и"?) Впрочем, самого Гесл-Лейба тоже мало кто рискнул бы назвать Ротшильдом, но, пока он был жив, его семья ни в чем не нуждалась. К несчастью, природа наделила Гесл-Лейба богатырским телосложением и артистическим складом характера. Сочетание этих двух качеств и привело его в 1887 году к безвременной и нелепой смерти в расцвете лет, наступившей от того, что на свадьбе одного из своих односельчан он поднял на плечах телегу с новобрачными.

Впрочем, не исключено, что этот романтический эпизод является плодом пресловутого фрейдкинского мифотворчества и ранняя смерть моего прадеда произошла от более естественных причин. Так, вполне можно предположить (что и делает кое-кто из моих родственников), что вся эта история относится не к Гесл-Лейбу, а к его отцу, Соломону, который тоже слыл богатырем и тоже рано умер. Словом, полной ясности тут нет, но как бы то ни было, 26-летняя Гинеся Гензелева осталась вдовой с тремя малолетними сыновьями на руках, причем младшему, Соломону (моему деду), было тогда всего десять месяцев от роду.

Старшего сына Гесл-Лейба и Гинеси звали Меером, но по документам он был Марком. Обращаю внимание читателей на этот факт, поскольку я был назван Марком в его память.

Вообще должен заметить, что в те веселые времена разобраться в еврейских именах было достаточно сложно. Во-первых, потому что они часто были двойными: Гесл-Лейб, Шмуел-Зуся, Ейсеф-Залмен, Хьене-Лея и т.д. Причем для будничного употребления, а также для выбора отчества можно было использовать любое из двух, а зачастую сегодня - одно, а завтра - другое. Во-вторых, потому что этимологически одни и те же имена имели по нескольку различных вариантов произнесения: Гесл=Герш=Гирш=Герцул=Герцль,Мендл=Мандель=Иммануил=Мендель, Залмен=Соломон,Самуил=Шмуел=Шлема,Ейсеф=Иосиф,Азриел=Израиль и т.п. Так что при нужде всегда можно было одно заменить на

другое, и далеко не всякий гой сразу догадается, что, скажем, Залмен и Соломон - это одно и то же. В-третьих, потому что эти имена довольно часто и весьма произвольно переделывались на русский лад: Авраам=Аркадий, Вевл=Владимир, Двося=Дуся, Гесл=Григорий, Залмен=Захар, Злата=Зина, Иехиель=Илья, Лейба=Лев, Мандель=Михаил, Пейсах=Павел, Хася=Ася, Шмуел=Семен и проч. В-четвертых, потому что, помимо всего этого, евреи в кругу семьи нередко имели и какие-то другие, домашние имена: Авраам=Буся, Мендл или Мейлах=Маня, Ревекка=Рива и пр., которые при случае также могли приобрести документальную самостоятельность.

Таким образом, почти каждый еврей имел в своем распоряжении как минимум три-четыре имени, любое из которых он имел основания считать своим, и можно было прожить с таким евреем бок о бок всю жизнь, но до тех пор, пока не заглянешь к нему в документы, нельзя было поручиться, что ты точно знаешь, как его зовут. Впрочем, зачастую и документы не давали на этот предмет исчерпывающей информации. Так, например, моя бабушка по материнской линии, младшая дочь Шмуела-Зуси Аршавского, по одним документам была Ривой Шмулевной, по другим - Ребеккой Зусьевной, а по третьим - Ревеккой Семеновной. И я думаю, что даже она сама не в состоянии определить, какой из этих вариантов является единственно верным.

Принимая во внимание все эти сложности, я, чтобы избежать путаницы, буду стараться в моей хронике по возможности называть каждое действующее лицо каким-нибудь одним именем.

Однако вернемся к Мееру. В зрелые годы это был крепкий шатен, среднего роста, с голубыми, как почти у всех Фрейдкиных, глазами. Систематического образования ему получить не удалось, но он что-то кончал экстерном и даже имел, кажется, диплом бухгалтера. Но его душевные склонности очень мало соответствовали этому почтенному ремеслу. Он был весьма начитан, как в Пятикнижии, так и в русской классике, в которой особенно ценил Чехова и Толстого, причем большой портрет последнего неизменно висел в его комнате, что было не совсем типичным для еврейских интерьеров тех лет. (Замечу в скобках, что среди моих родственников это не единственный случай увлечения Толстым: мне рассказывали, что один из Клямеров - брат моего прадеда по материнской линии - пошел в этом отношении еще дальше. Он крестился, стал заядлым толстовцем и регулярно совершал паломничества в Ясную Поляну.) Меер обладал отличным голосом и слухом, любил и умел петь.

Вообще из рассказов о нем вырисовывается облик умного, великодушного и талантливого человека. К сожалению, его жизнь

сложилась так, что он не сумел найти практически никакого применения своим гуманитарным способностям. За теми внешними фактами его биографии, о которых я расскажу ниже, трудно увидеть какие-то следы неординарных душевных качеств, но хотелось бы отметить вот что: собирая информацию о своих предках и родственниках, мне приходилось слышать о них самые разные и зачастую совсем не лестные отзывы (что греха таить, еврей любит позлословить о ближнем), но ни один из тех, кто знал Меера, не отозвался о нем дурно или неуважительно. Можно ли сказать, что жизнь человека не удалась, если он оставил по себе только добрую память?

Где-то около 1909 года или немного раньше (его старшая дочь Люба родилась в 1910 году) Гинеся женила Меера на Рахили Свердловой, дочери Иехиеля Свердлова - богатого меламеда из Прилук. И кажется, это ему я обязан своим отчасти экзотическим отчеством, поскольку, очевидно, мой отец родился вскоре после его смерти и был назван в его память. Прилуки были еврейским местечком примерно в тех же краях, только чуть южнее, ближе к Чернигову, и там обитала в то время почти вся семья Гензелевых, в частности, трое братьев Гинеси, которые один за другим умирали от наследственного в их семье туберкулеза.

С помощью своего тестя Меер открыл в Прилуках галантерейную лавочку, но занимался ею мало, проводя по обыкновению многих еврейских мужчин большую часть времени за чтением священных книг, не пренебрегая, впрочем, и светской литературой.

Надо сказать, что хотя браку Меера и Рахили не предшествовало абсолютно никакого романа (они были сосватаны даже без предварительного знакомства и впервые увиделись только под венцом, если такое выражение применимо к обряду еврейского бракосочетания), они нежно и преданно любили друг друга всю жизнь. В письмах и рассказах родственников и их детей эта парочка неизменно фигурировала как "Ромео и Джульетта" или "старосветские помещики". У них было трое детей: Люба, Ася и Лев.

Люба, единственная из троих, жива до сих пор. Окончив перед самой войной театроведческий факультет ГИТИСа, она стала довольно известным театральным критиком, автором многочисленных трудов и статей по истории театра, в том числе капитальной работы "Дни и годы Немировича-Данченко", вышедшей отдельной книгой и даже утвержденной, кажется, в свое время в качестве учебного пособия для театральных вузов. Вне всякого сомнения, эта книга моей двоюродной тетки представляет собой серьезное, основательное и добросовестное исследование, но для неспециалиста, каковым является и ее

почтительный племянник, она совершенно нечитабельна. У Любы есть сын Алик и внучка Марина. Все они живут в Москве.

Ася также окончила ГИТИС, но уже после войны и проработала всю жизнь в культурно-просветительских учреждениях ("ученье - свет, а неученье - культпросвет", как она любила выражаться). Она никогда не была замужем, будучи в молодости, по ее собственным словам, чересчур разборчивой невестой, и детей у нее не было. Ранней весной 1989 года Ася умерла. Урна с ее прахом покоится в той же могиле на окраине Востряковского кладбища, где зарыт прах моего деда Давида, моей матери, моего отца и где, во всей видимости, в свое время (как выражались раньше в местечках: через сто двадцать лет) предстоит оказаться и скромному праху автора этих строк.

Младший, Лев, погиб на фронте, так же как и муж Любы - Ефим Торбочкин.

С приходом Советской власти в Прилуки Мееру, натурально, пришлось расстаться со своей галантерейной лавочкой, причем, по слухам, не последнюю роль в процессе ее отчуждения сыграл Зейдл Гензелев, младший брат Гинеси и первый прилукский комиссар. Меер с Рахилью и детьми переехали в дом к тестю.

Иехиель Свердлов, подобно своему знаменитому однофамильцу (а быть может - чем черт не шутит? - и родственнику), был человеком с государственным складом мышления. На вечерних чаепитиях в его доме собирались лучшие умы местечка и всесторонне трактовали сложную политическую ситуацию тех лихих лет. На одном из таких обсуждений Иехиель, по словам Любы, незадолго до булгаковского Филиппа Филипповича высказал не лишенное здравого смысла предположение о том, что большевикам на руку разруха, чтобы всегда иметь повод для террора.

Разумеется, в этих политических диспутах с интересом прислушивались и к мнениям начитанного зятя хозяина. Но эта идиллия в доме богатого тестя - с прислугой, серебряными подсвечниками, книжными занятиями, умными разговорами и тихими семейными радостями - продолжалась недолго. Как гром среди ясного неба, грянуло решение Советского правительства "посадить евреев на землю", и Мееру с семьей пришлось поехать в Крым (см. известное стихотворение В.Маяковского).

В Крыму их поселили, как вы легко можете себе представить, не в Ливадии, а в самом центре этого благословенного полуострова - в районе маленькой железнодорожной станции Сейтлер. Там Мееру пришлось оставить книги и молитвы и трудами рук своих на голом месте

в безводной степи создавать относительное материальное благополучие для своей семьи.

Увлечение Толстым оказалось не напрасным - книжник и интеллигент сумел стать неплохим земледельцем. Это явствует хотя бы из того, что к 1929 году Меер уже имел хозяйство достаточное, чтобы быть признанным кулаком и, естественно, раскулаченным. Во второй раз лишившись всего, что имел, и чудом избежав еще более суровой участи, он с семьей перебрался в Феодосию, где по старой памяти устроился работать продавцом в галантерейный магазин. Дети вскоре разъехались учиться в большие города, и Меер с Рахилью остались в Феодосии одни.

Когда в 1941 году немцы вошли в город, они согнали всех местных евреев в здание синагоги и перед расстрелом продержали их там запертыми несколько недель. Рассказывают (хотя непонятно, как это могло стать известным), что Меер все время пел в синагоге в эти последние дни.

8. ПЕЙСАХ ФРЕЙДКИН (МЛАДШИЙ) И БАСЯ ЛИВШИЦ. ИХ ДЕТИ

Второго сына Гесл-Лейба Фрейдкина и Гинеси Гензелевой назвали Пейсахом, очевидно, в честь знаменитого прадеда. В отличие от своего старшего брата, Пейсах был жгучим брюнетом с черными курчавыми волосами и карими глазами. От старшего брата его отличала и гораздо меньшая склонность к книжным занятиям и изящным искусствам. Правда, петь он тоже любил и постоянно что-то мурлыкал себе под нос.

Он женился очень рано (чуть ли не раньше Меера) на своей двоюродной сестре Басе Лившиц, дочери Бинемина Лившица и Хаси Фрейдкиной. И надо сказать, что Бася Лившиц с лихвой восполняла отсутствие у ее мужа тяги к книгам. Вообще старшие Лившицы были, как правило, не очень образованными людьми и, в отличие от большинства Фрейдкиных, не имели особой охоты к абстрактным знаниям и гуманитарным наукам, хотя им и нельзя было отказать в природном уме, все способности которого они преимущественно направляли на изыскание путей и средств к достижению материального благополучия. Исключение составляла Бася. Будучи отнюдь не равнодушной к меркантильной стороне жизни, а также весьма практичной и даже скуповатой в быту, она тем не менее страстно любила читать и проводила за книгами целые дни, предоставив Пейсаху самому управляться с домашним хозяйством, что было не очень типично

для еврейских семей того времени и вызывало многочисленные нарекания родни.

В истории их брака имела место одна отчасти романтическая деталь: когда Бася училась в гимназии, у нее была закадычная подруга - Ревекка Резникова. Они очень дорожили своей девичьей дружбой и мечтали, дабы сохранить ее и в дальнейшем, после окончания гимназии выйти замуж за двух братьев. И волею судеб так и произошло. Ревекка Резникова, правда с опозданием на семь лет, вышла замуж за родного брата Пейсаха - моего деда Соломона. Но, к сожалению, за эти семь лет Бася и Ревекка успели стать родственницами и, как это часто бывает в таких случаях, перестали быть подругами. И более того, Бася к тому времени уже всячески препятствовала браку Ревекки и Соломона.

До начала первой мировой войны Пейсах и Бася жили в Красной горе и нажили за четыре года двоих сыновей - Лейбу и Гирша. Но когда над Пейсахом нависла угроза мобилизации, он, оставив семью на попечение Гинеси и ее второго мужа Гирша Мовшевича Резникова, бежал в Америку. Там, судя по всему, он повидал мало хорошего. Он за короткое время перепробовал множество занятий и профессий, был даже чернорабочим на одном из заводов Форда. Словом, пристроиться в Америке ему не удалось, и незадолго до революции он вернулся к семье в Красную гору и за несколько лет произвел на свет еще двух детей - дочь Хасю и сына Евеля.

В родном местечке Пейсах занялся чем-то вроде изготовления мельничных жерновов и, кажется, неплохо этим кормился, а при Советской власти работал продавцом в государственном магазине. Так в Красной горе он и прожил безвыездно вплоть до 1941 года, когда он вместе с Басей эвакуировался в Челябинск к своим детям Гиршу и Хасе, которые к тому времени уже обосновались там. Причем уходил он из Красной горы в такой спешке, что, будучи счастливым обладателем лошадей и подводы, совершенно позабыл предложить помощь своей парализованной матери, Гинесе, и младшему брату Соломону (чего Ида Соломоновна Фрейдкина, старшая дочь Соломона, не может простить Пейсаху до сих пор), о трагической эвакуационной судьбе которых читатель узнает в свой черед.

После войны Пейсах и Бася решили не возвращаться на родину и прожили в Челябинске до самой своей смерти, причем Бася надолго пережила своего мужа и двоюродного брата.

Хотя до начала 30-х годов Пейсах и жил в Красной горе бок о бок с остальными Фрейдкиными, но в результате ссоры его жены с Гинесей, Соломоном и со всеми Резниковыми из-за брака Ревекки Резниковой и Соломона, которого Бася, забыв о юношеских обетах, хотела женить на

своей младшей сестре, красавице Рисе - а может быть, и в силу еще каких-то причин, - семья Пейсаха оставалась как бы немного в стороне от всех родных. По крайней мере, мой отец, его старшая сестра Ида, благодаря замечательной памяти которой во многом стала возможной моя хроника, и другие родственники рассказывали о нем очень скупо, неохотно и недоброжелательно, хотя, на мой взгляд, эта недоброжелательность больше относится к Басе, чем к нему самому. Бася же, как я понимаю, была женщиной умной, властной, самолюбивой и крепко держала мужа в руках.

Своих детей она, очевидно под впечатлением "Господ Головлевых", делила на любимых (Гирш и Евель) и постылых (Лейб и Хася), и сейчас самое время немного рассказать о них.

Старший сын Лейб, о котором я уже упоминал в связи с его удивительным сходством со своим дедом, Бинемином Лившицем, будучи внешне ярко выраженным Лившицем, по своим внутренним качествам являлся не менее ярко выраженным Фрейдкиным. Подобно своему дяде Мееру, он был большим книжником и эрудитом. Как и подобает еврею, получившему начальное образование в хедере, он смолоду со всем пылом юности отдавался доскональному и всестороннему изучению Талмуда. Однако затем, вследствие, надо полагать, внешних социальных воздействий, его взгляды на сотворение мира претерпели кардинальные изменения, и когда в 1928 году 18-летним юношей он приехал учиться в Москву, он был уже воинствующим безбожником, убежденным комсомольцем и фанатичным приверженцем Ленина, которого до конца своих дней имел упрямство считать самым великим человеком из всех когда-либо живших на земле.

Вообще он отличался редким радикализмом взглядов, твердостью в мнениях и крайней резкостью суждений. Он проявлял принципиальность даже в самых незначительных вещах. Так, в то время как его брат Гирш и сестра Хася давно уже звались "Григорий Павлович" и "Ася Павловна", он не допускал, чтобы кто бы то ни было обратился к нему иначе как: "Лейб Пейсахович". Для него не существовало никаких бытовых условностей. Если к нему в дом приходили люди, которые его не интересовали, он безо всякой демонстративности ложился с книгой на диван, обращал к гостям то, что лишь из вежливости можно назвать спиной, и за весь вечер не произносил ни слова. Он мог совершенно натурально и нисколько не рисуясь во весь голос храпеть в партере на не нравящемся ему спектакле. Это, впрочем, случалось довольно редко, так как Лейб Пейсахович вообще не жаловал театр и бывал там считанные разы.

С юных лет в нем кипела неистребимая страсть к ученью. Несколько раз его как родственника классово чуждых элементов исключали из различных средних и высших учебных заведений, но, несмотря ни на что, он все-таки сумел закончить сначала рабфак, а потом - с красным дипломом! - Институт тонкой химической технологии.

Во время многочисленных кампаний и чисток, которыми была так богата история нашей страны, его неоднократно снимали с различных руководящих должностей, и каждый раз он упорно начинал восхождение сначала. Последние двадцать лет жизни, когда этих кампаний стало поменьше и они уже не с такой беспощадной неуклонностью приводились к осуществлению, он проработал начальником патентного отдела НИИ им. С. Орджоникидзе.

Большую часть своего свободного времени он отдавал чтению. Он читал все на свете. Круг его интересов был чрезвычайно широк. Помимо своей основной специальности он самостоятельно (и весьма капитально) изучал самые разнообразные предметы - от древней истории до современной лингвистики. Он мог читать (и читал!) на древнееврейском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском и всех скандинавских языках.

Сразу после войны, уже будучи вполне зрелым мужем, он женился на Белле И[illegible]ковне Аршавской (о ней я расскажу более подробно, когда очередь дойдет до семьи Аршавских), и в 1946 году у них родился сын Евгений.

В отличие от большинства из тех, о ком я пишу, я не раз встречался с Лейбом Пейсаховичем и довольно неплохо его помню. Это был невысокий, крепкий, коренастый мужчина с жесткими, коротко стриженными седыми кудрями и со скупыми, но энергическими движениями. На людях он всегда был замкнут, серьезен, молчалив. Держался очень солидно. уверенно и даже немного высокомерно. Кажется, характер у него был не из легких. Его жена рассказывала мне, что он был чрезвычайно вспыльчив, невероятно упрям и вдобавок виртуозный матерщинник. Впрочем, что касается этого последнего качества, то мне представляется, что у Фрейдкиных оно было фамильным - во всяком случае, мой родной отец по этой части тоже мало кому мог уступить.

После того как в 1976 году Лейб Пейсахович скоропостижно умер (он с вечера как ни в чем не бывало лег спать и не проснулся), его сын Женя еще долго ходил с рюкзаком по московским библиотекам, сдавая десятки и десятки книг по абонементам своего отца.

Брат Лейба Пейсаховича, Гирш (или, как все его звали, Гриша), в конце 20-х годов окончил клинцовский энерготехникум и уехал по

распределению в город Егоршино Челябинской области. Там он вскоре создал прецедент ассимиляции рода Фрейдкиных, женившись на русской женщине, некоей Клавдии Ивановне, которая, между прочим, занимала должность директора фабрики, куда Гриша был распределен. Фамилию Клавдии Ивановны мне, к сожалению, установить не удалось.

Надо сказать, что этот прецедент оставался для Фрейдкиных единственным на протяжении еще более чем 50 лет, пока грешный автор этих строк не последовал примеру своего двоюродного дяди. И представьте себе мое удивление, когда, после трех лет супружества и десяти лет знакомства, я совершенно случайно узнал, что отец моей жены и все ее предки по отцовской линии происходят, оказывается, все из той же Красной горы.

Хотя по вполне понятным причинам некоторые родственники и пытались в своих рассказах опорочить образ Клавдии Ивановны, предъявляя ей традиционные в таких случаях еврейские обвинения в невежестве, вульгарности и наследственном алкоголизме, у меня, хотя я ни разу в жизни ее не видел и по сути дела совершенно ничего о ней не знаю, тем не менее, сложилось впечатление, что этот брак был удачным (говорю это отнюдь не для того, чтобы в какой-то мере оправдать и собственный выбор).

В 30-х годах их семья перебралась в Челябинск, и вскоре после окончания фармацевтического медтехникума туда же приехала на постоянное жительство сестра Гриши - Ася. К этому времени у Гриши и Клавдии было уже трое детей - Надежда, Лев и Татьяна. А с приездом в 41 году родителей, Пейсаха и Баси, а чуть позже и племянника Баси, Бени Лившица (сына Иды Фрейдкиной и Лейбы Лившица), в Челябинске образовалась довольно внушительная колония Фрейдкиных и Лившицев, процветающая и сегодня. Правда, Ася, будучи по рассказам, крайне нехороша собой, так и не сумела выйти замуж, но благодаря бракам детей Гриши и Клавдии за будущее челябинской ветви нашей фамилии беспокоиться не приходится.

Что же касается непривлекательной внешности Аси, то с этим связано еще одно семейное предание. Рассказывают, что в 1917 году, во время исторической ссоры Фрейдкиных-Лившицев с младшими Фрейдкиными и Резниковыми, мой прадедушка Гирш Мовшевич Резников в припадке гнева проклял Басю Лившиц, которая являлась одной из самых активных участниц этой ссоры и как раз была в то время беременна Асей, примерно таким (несколько, на мой взгляд, вычурным) проклятием: "Пусть у нее родится ребенок, который не увидит свой след!" И это проклятье отчасти сбылось - Ася родилась с

сильным косоглазием, что и отразилось самым печальным образом на ее женской судьбе.

Младший сын Пейсаха Фрейдкина и Баси Лившиц, Евель, названный в память "дедушки Евеля" и, по слухам, являвшийся автором вышеприведенной непристойной частушки про Рейзу Лившиц и Мендла Гельфанда, у которых он одно время жил в Сураже, погиб в 1942 году под Сталинградом.

9. СОЛОМОН ФРЕЙДКИН

Младшим сыном Гесл-Лейба Фрейдкина и Гинеси Гензелевой являлся, как я уже неоднократно говорил, мой дед Соломон.

Я понимаю, как трудно приходится читателю из-за этих бесконечно повторяющихся имен, но, к сожалению, ничем не могу ему помочь.

По рассказам, Соломон был высок ростом, светловолос и голубоглаз. Многие считали, что как в его внешнем облике, так и в душевных качествах фамильные черты Фрейдкиных нашли наиболее полное выражение. Он был горд, замкнут, остроумен, немногословен, но втайне болезненно нежен к близким, щепетильно честен и порядочен и - почти всю свою жизнь очень беден.

Вообще младшие Фрейдкины в большинстве своем были людьми среднего достатка и никогда не жили (кроме, повторяю, Соломона) в какой-то особенной нищете. Но, очевидно, для контраста с богатыми родственниками, они считали бедность и бессребренничество своими главными фамильными добродетелями и чрезвычайно (пожалуй, даже несколько демонстративно) ими гордились. Поэтому когда А. Рыбаков в своем романе "Тяжелый песок", написанном в форме автобиографической семейной хроники, вывел под фамилией "Фрейдкин" скупого и трусливого толстосума и ростовщика, многие Фрейдкины восприняли это как тяжелое и незаслуженное оскорбление, тем более что действие этого романа протекало как раз в наших местах (мне говорили, что Рыбаков описывал Почеп), а Фрейдкины - фамилия достаточно редкая. Во всяком случае, мне не приходилось встречать ее, кроме как у своих родственников. Хотя совсем недавно я получил из Молдавии письмо от некоего Павла Фрейдкина, который прочел интервью со мной в какой-то газете и заинтересовался, не родственники ли мы. К сожалению, я не смог однозначно ответить на этот вопрос, поскольку не получил от Павла Фрейдкина практически никакой информации о его предках, но ни сам он, ни его отец Лазарь Фрейдкин в моих списках не значатся. Впрочем, они вполне могут принадлежать к тем ветвям Фрейдкиных, о которых у меня нет или недостаточно

сведений. А что касается Рыбакова, то, возможно, у него и были какие-то фактические основания для такого использования нашей фамилии, не говоря уже о том, что писатель, безусловно вправе давать своим персонажам имена и фамилии по собственному усмотрению.

Но вернемся к Соломону.

Помимо вышеописанных благородных фамильных качеств, Соломон в полной мере обладал и еще одной, очень характерной для всех Фрейдкиных чертой, а именно: внушительнейших размеров носом. Сам я деда Соломона помнить не могу, поскольку видел его в последний раз, когда мне было не больше полутора лет, но немногие сохранившиеся фотографии наглядно демонстрируют эту нашу семейную достопримечательность, с завидным постоянством переходящую из поколения в поколение.

Как известно, крупные носы являются одним из характерных этнических признаков евреев вообще. Но фамильный фрейдкинский "шнобель" выделялся даже на фоне отнюдь не миниатюрных носов их односельчан и соплеменников. Пожалуй, именно нос, а не, скажем, светлые волосы и представляет собой нашу главную и неоспоримую семейную черту. Потому что если сопоставить с действительностью вышеупомянутый светловолосый, голубоглазый и высокорослый идеал того, каким должен быть настоящий Фрейдкин, то приходится признать одно из двух: либо в последних поколениях наш род от смешений с другими фамилиями начал вырождаться и терять присущие ему черты, либо этот благородный нордический тип внешности изначально был не слишком обоснованно выбран в качестве эталона. Я вынужден сделать этот печальный вывод, так как если среди всех Фрейдкиных, которых я видел воочию, голубые (лучше сказать: серые) глаза еще встречаются довольно часто, то с высоким ростом и светлыми волосами дело у нас обстоит совсем плачевно. Я знаю только одного человека из всех Фрейдкиных, кого можно при желании назвать высокорослым (хотя ни в коем случае не стройным) - это я сам. Для справки: мой рост 183 см. Все остальные Фрейдкины, которых я знал, напротив, люди невысокого роста и до такой степени склонные к полноте, что уж скорей полнота, чем мифический высокий рост, может считаться фамильной чертой (правда, недавно мне рассказали, что мой двоюродный брат Саша - младший сын моего родного дяди Льва Фрейдкина вымахал аж до 185 см, но я, к сожалению, никогда его не видел).

Не лучше положение и со светлыми волосами. Максимум, что мы можем предложить по этой части - это несколько не очень темных шатенов, каковым, если верить фотографии, в молодости являлся и Соломон. Здесь, впрочем, следует оговориться, что, по моим

наблюдениям, в Красной горе употребление термина "блондин" несколько отличалось от общепринятого и блондином там, как правило, называли человека со светлыми глазами, не слишком темными волосами и, главное, не со смуглым цветом лица, Но, как бы то ни было, приходится признать, что с течением времени генотип Фрейдкиных претерпел серьезные изменения и одни лишь носы остались верны нам, как прежде.

Соломон с десятилетнего возраста жил "в людях". Он был отправлен "мальчиком" в лавку какого-то новозыбковского купца и жил там, приезжая к матери в Красную гору лишь по большим праздникам.

А в 1908 году он как младший сын в семье был призван в русскую армию. Служил в пехоте. Прошел всю первую мировую войну. Дослужился до взводного. В 1917 году Соломон оказался каким-то образом в Нижнем Новгороде - возможно, его часть отвели туда на переформирование. Там его и застали февральские события, в которых он по молодости лет принял весьма деятельное участие - ходил на конспиративные собрания в Сормове, выступал на митингах, заседал в Совете солдатских депутатов. Венцом его политической карьеры было выдвижение на пост начальника городской милиции.

Однако на этом интригующем моменте нам придется прервать свой рассказ о Соломоне, потому что для описания дальнейших событий его жизни, а именно - его брака с Ревеккой Резниковой, необходимо ввести читателя в курс отношений между семьей Фрейдкиных и семьей Резниковых, о которой тот не имеет пока никакого представления. Поэтому мы здесь довольно надолго расстаемся с Соломоном и возвращаемся назад в 1887 год.

10. ГИНЕСЯ ГЕНЗЕЛЕВА И ГИРШ МОВШЕВИЧ РЕЗНИКОВ

Итак, в 1887 году в Красной горе мать Соломона - моя прабабушка - Гинеся Гензелева осталась вдовой с тремя малолетними детьми и безо всяких средств к существованию. В свои 26 лет она была удивительно красивой молодой женщиной с прекрасными длинными черными волосами и большими голубыми глазами. От многих моих родственников я слышал, что моя мать, Мирра Давидовна Клямер, была очень похожа на Гинесю в молодости и что выбор моего отца был не случаен. Оспаривать это утверждение я не берусь, так как видеть молодой свою прабабушку, погибшую за 12 лет до моего рождения, я, естественно, не мог. Но, по моим данным, никого из моих родственников, кто мог бы в 80-х годах прошлого века застать молодость Гинеси, к концу 40-х годов

нашего века, когда была молодой моя мать, тоже уже не было в живых. Теоретически такое сравнение мог бы провести только старший брат Соломона - Пейсах, но он мою мать никогда не видел. Что же тогда говорить о моем отце, родившемся в 1925 году, когда Гинесе было уже за 60? Тем более что о существовании фотографий или портретов юной прабабушки мне тоже слышать не приходилось. Возможно, однако, что мой отец руководствовался какими-то подсознательными мотивами, поскольку у моей матери, так же как у Гинеси, действительно были и прекрасные длинные черные волосы, и большие голубые глаза.

Чтобы как-то прокормиться, Гинеся стала печь хлеб и булки для всего местечка. и говорят, эта ее продукция пользовалась довольно большим спросом ввиду каких-то исключительных вкусовых качеств. Вообще во всей округе очень высоко ценились ее кулинарные способности, и почти на каждую большую свадьбу Гинесю приглашали в качестве главной стряпки. Впрочем, дело здесь было не только в чисто кулинарных способностях.

Известно, что правоверные евреи невероятно щепетильны в вопросах приготовления пищи (мой дядя Самуил Клямер рассказывал мне, что когда их семья оказалась в эвакуации в Красноярске и буквально умирала там от недоедания, его дед (и, соответственно, мой прадед) Моисей Клямер тем не менее наотрез отказался принимать некошерную пищу и предпочел голодную смерть). В этом деле существует масса всевозможных законов, запретов, тонкостей и нюансов, которые обязательно должны быть соблюдены - иначе верующий еврей не станет этого есть. Тут целая наука, трактующая не столько даже чисто технологическую сторону, сколько многие существенные аспекты духовности и веры. И тот, кому доверялось это ответственное дело, помимо всех этих специальных знаний, мастерства и таланта, обязан был обладать еще и незапятнанной религиозной и нравственной репутацией, быть, что называлось тогда, "человеком с чистыми руками". Доходило даже до того, что на одной свадьбе, куда пригласили главным поваром не Гинесю, а какую-то другую женщину, Мордехай Гельфанд попросту отказался сесть за стол.

Словом, все в Красной горе Гинесю уважали и жалели, а сыновья - так просто боготворили. И даже много лет спустя, став взрослыми, самостоятельными людьми, имея уже свои многочисленные семьи, они относились к ней удивительно нежно и почтительно. При том, что Гинеся вовсе не была строгой или властной матерью, а напротив - тихой, безграмотной, работящей и кроткой женщиной, это выглядело еще более трогательно. Если знать о таком отношении сыновей к матери, то особенно ужасной представляется та трагедия, которую пришлось

пережить Соломону в 1941 году на клинцовской железнодорожной станции. Но не будем забегать вперед.

Мне кажется довольно странным, что в рассказах об этом периоде жизни Гинеси особенно подчеркивается, что она и ее сыновья жили очень бедно, почти впроголодь. Конечно, потеря мужа и кормильца не могла не сказаться на благополучии семьи, но ведь в этом же местечке и, более того, на той же улице жили отнюдь не нуждавшиеся сестры и брат ее покойного Гесл-Лейба - Фрейда, Хася, Сарра и Герцул. Возможно, им и могла быть безразлична судьба вдовы их брата, но к судьбе его сыновей они никак не могли остаться равнодушными.

Не знаю, до какой степени Гинесе и ее детям приходилось голодать, но факт остается фактом - ни одному из ее сыновей не удалось получить образование, хотя помочь бедному родственнику сделать это считалось чуть ли не обязанностью для любого обеспеченного еврея. Да и, согласитесь, десятилетнего младшего сына на побегушки к купцу отдают тоже не от хорошей жизни. Но, с другой стороны, Хася Фрейдкина-Лившиц недрогнувшей рукой выдала свою дочь Басю за среднего сына Гинеси, Пейсаха, и намеревалась выдать другую свою дочь, Рисю, за Соломона. Впрочем, что касается последнего, то я не уверен, что Хася была к тому времени еще жива. Словом, взаимоотношения Гинеси с родными ее покойного мужа мне не совсем яс[illegible] оставим это.

Такая красавица и работница, как Гинеся, я думаю, не имела недостатка в женихах, несмотря даже на свою бедность и троих детей. Но только через 21 год после смерти Гесл-Лейба, когда дети были уже более или менее на ногах, она занялась устройством своей судьбы и согласилась принять предложение Гирша Мовшевича Резникова, овдовевшего купца третьей гильдии и по местным меркам очень богатого человека.

Здесь, пожалуй, следует особо разъяснить, почему в еврейском местечке богатый купец искал руки нищей вдовы. Конечно, Гинеся считалась красавицей, но я не уверен, что в 47 лет, после двадцати лет напряженной борьбы за существование, она была так же хороша, как в 26. Да и Гирш Мовшевич к тому времени был уже далеко не пылким юношей, ищущим красивую невесту. После смерти первой жены, Иты Мархасиной, у него остались четыре взрослые дочери, большой дом, хозяйство, и ему просто нужна была добрая работящая женщина, которая взяла бы это все в свои руки. Существовала и еще одна причина, уже социального характера, но чтобы ее объяснить, потребуется небольшое отступление.

Хотя евреи не без основания считаются нацией, предпочитающей всему меркантильный интерес, у самих евреев отношение к этому вопросу более сложное. Конечно, богач в местечке всегда был очень уважаемым человеком и обладал огромным влиянием, которое я ни в коей мере не хочу преуменьшать, но не меньшим, если не большим влиянием и авторитетом пользовались, не говоря о еврейском духовенстве, и представители так называемых "благородных" фамилий, независимо от их материального или общественного положения. Справедливости ради следует заметить, что эти "благородные" тоже в большинстве своем были не бедняками, но их "благородство" в конечном счете определялось не богатством. Скорее наоборот - считалось, что эти "аристократы" не должны унижаться до забот о мирских благах и прочей суете сует, а призваны употребить свою жизнь на сохранение религиозных, культурных и духовных ценностей нации. И более того, если какому-нибудь обеспеченному еврею "низкого" происхождения (как правило, это почти всегда можно было отождествить с более низким культурным и интеллектуальным уровнем) посчастливится взять на себя бремя содержания неимущего "аристократа духа", то он должен был расценивать это как большую честь. Подобные ситуации неоднократно описываются у Шолом-Алейхема.

Причем следует заметить, что речь здесь идет не о священнослужителях - раввинах, цадиках и проч., а о... не знаю даже, как их и назвать. Пожалуй, кроме слова "интеллигенция", никакого определения и не подберешь. И я не уверен, что в истории какого-нибудь другого народа имела место осознанная традиция подобного отношения к своей интеллигенции. Но это так, к слову.

Итак, "благородство" это определялось безупречной нравственной репутацией, склонностью к философии, книжным занятиям и интеллектуализму (разумеется, преимущественно в рамках талмуда), талантами к изящным искусствам и великодушными чертами характера - словом, всем тем, что можно объединить одним словом: духовность - и рассматривалось как комплекс качеств, переходящих по наследству из рода в род. И если такая "благородная" семья волею судеб вступала в родство с менее "благородной", то в детях "благородные" фамильные свойства предполагались доминантными. Так я, хотя во мне в равной пропорции течет кровь Фрейдкиных, Резниковых, Клямеров и Аршавских, имею основание считать себя именно Фрейдкиным, не только потому, что это фамилия моего отца, но и потому еще, что Фрейдкины, как можно уже понять из вышесказанного, - единственные из всего этого квартета, кого считали такой "благородной" фамилией.

Так вот, Гинеся, кроме того, что она была вдовой Гесл-Лейба Фрейдкина, а это само по себе было уже немало, еще и сама происходила из фамилии Гензелевых, известных в округе "аристократов" из местечка Ветки под Гомелем. И нет ничего удивительного, что богач Резников, который отнюдь не являлся таким "аристократом", а, напротив, был выходцем из самой что ни на есть плебейской фамилии, почел для себя за честь породниться с бедной вдовой из благородного семейства. Более того: если кто и считал этот брак мезальянсом, так это были родственники Гинеси по линии ее первого мужа - старшие Фрейдкины и Лившицы. Особенно были недовольны и даже оскорблены последние, которые, как я уже говорил, почитали себя еще большими "аристократами", чем Фрейдкины, и третировали Резникова не иначе как плебея, выскочку и нувориша, каковым, впрочем, он и являлся на самом деле.

11. СТАРШИЕ РЕЗНИКОВЫ. ХЬЕНЕ-ЛЕЯ И ЕЙСЕФ-ЗАЛМЕН

Как я уже упоминал, у Гирша Мовшевича Резникова было четыре дочери от первого брака, которые стали сводными сестрами трем сыновьям Гинеси: Хьене-Лея (или Лия), Анета, Ревекка и Хава. Я надеюсь, читатель помнит, что Ревекке Резниковой суждено будет со временем стать женой моего деда Соломона, и, таким образом, первая жена Гирша Резникова оказывается моей прабабушкой. Но о ней, к сожалению, мне неизвестно ровным счетом ничего, кроме того, что она умерла в 1905 году и что ее звали Итой, а девичья ее фамилия была Мархасина.

Поскольку судьбы Ревекки и Хавы тесно связаны с жизнью Соломона и станут понятны по мере продолжения рассказа о нем, а рассказ об Анете и об ее огромной роли в объединении семей Фрейдкиных, Резниковых и Аршавских - это такая длинная история, что может окончательно запутать мое и без того очень запутанное повествование (я буду рассказывать об Анете несколько позже, когда немного разберусь с остальными), то, говоря о семье Резниковых, я ограничусь пока рассказом о жизни его старшей дочери - Хьене-Леи. Но сначала мне хотелось бы дать небольшую характеристику Резниковых вообще.

Основной отличительной чертой Резниковых являлось то, что их было очень много - Красная гора буквально кишела Резниковыми. Справедливости ради следует сказать, что семьи Фрейдкиных и Лившицев тоже были не маленькими, но Резниковы в этом деле шли на много очков впереди. У одного только моего прадедушки Гирша

Мовшевича было в Красной горе восемь родных братьев и как минимум две сестры, одна из которых (Эстер?) вышла замуж за присяжного поверенного Эстрина и уехала с ним в Харбин, а оттуда в Сан-Франциско, где и живут сейчас ее потомки. Причем в большинстве своем Резниковы были очень бедны и представляли самые малопочтенные у евреев профессии: сапожники, портные, музыканты, просто нищие отцы семейств, не имевшие определенных занятий и с утра не знавшие, где раздобудут пятак на обед для себя и своих, как правило, очень многочисленных детей. Так вот, из всех них в люди выбился только Гирш Мовшевич, и одному Богу известно, как ему это удалось.

Резниковы были чаще всего коренастыми, кривоногими, жизнерадостными крепышами со смуглыми цыганскими лицами, густыми черными вьющимися волосами и блестящими карими глазами. Они были разговорчивы, остроумны и сентиментальны - и все, как на подбор, прекрасные танцоры и музыканты. Старших Фрейдкиных и Лившицев коробила в Резниковых, как мне кажется, их ярко выраженная экстравертность, несколько вульгарный артистизм, наклонность к шумному и излишне помпезному самопроявлению, демонстративная широта натуры и, самое главное, недостаток той внутренней сдержанности и культуры, которую не дает никакое образование. Впрочем, особой образованностью подавляющее большинство Резниковых тоже не могло похвастать.

Женщины рода Резниковых отличались красотой, деловитостью, хозяйственностью и отчасти истеричностью.

Все Резниковы, повторяю, были очень музыкальны. Племянники Гирша Мовшевича, Авруся и Шмерл, руководили местным оркестром, состоявшим преимущественно тоже из всевозможных Резниковых. Этот оркестр был знаменит чуть ли не до самой Польши и помимо еврейских народных песен и танцев исполнял также популярные произведения классического репертуара: "Интродукцию и рондо каприччиозо" Сен-Санса, отрывки из "Ифигении" Глюка и т.п. Впрочем, этим известным произведениям, очевидно из соображений ложного патриотизма и коммерческого успеха, обязательно давались какие-нибудь еврейские названия. Так в Красной горе музыка на всех свадьбах и праздниках начиналась с "эрштер-танца" (первого танца), каковым неизменно бывал знаменитый полонез Огинского "Прощание с родиной", фигурировавший, однако, в программе под названием "Плач Израиля".

К роду Резниковых принадлежал и местечковый дурачок, рыжий Герш-Бинемин, прославившийся тем, что, когда уже в советское время все в местечке почему-то старались отказаться от высокой чести нести

флаг на праздничных демонстрациях ("ай, мне это надо?"), это ответственное дело поручалось ему, и он, гордый оказанным доверием, со счастливой улыбкой шагал впереди всех.

Хьене-Лея Резникова (ее обычно звали Лия) где-то в конце девяностых годов прошлого века была выдана замуж за своего двоюродного брата, Ейсеф-Залмена Резникова - сына одного из братьев Гирша Мовшевича. К слову сказать, как читатель мог уже заметить, браки между двоюродными братьями и сестрами в еврейских семьях не только допускались, но и поощрялись, что, естественно, способствовало образованию больших семейных кланов, вроде тех, о которых у нас идет речь.

Лия была женщиной простой и, кажется, помимо семейных и хозяйственных дел имела не много других интересов. Рассказывают, что она отличалась добродушием, хлебосольством и незаурядными кулинарными талантами. Многочисленные племянники (в их числе и мой отец), которые неоднократно и подолгу живали в ее гостеприимном доме, возвращаясь с улицы, прибегали к ней на кухню и хором пели на мотив "кукарачи":

О, Хьене-Лея! О, Хьене-Лея!
Ты - царица всех сластей!
О, Хьене-Лея! О, Хьене-Лея!
Дай нам кушать поскорей!

Ее муж, Ейсеф-Залмен Резников, был весьма незаурядной личностью. Подобно всем Резниковым, он был очень музыкален и мог играть на любом инструменте, какой только попадал к нему в руки, включая даже такие сложные, как кларнет и флейта. Однако не музыка стала делом его жизни, о чем можно только пожалеть. С молодых лет он был буквально одержим идеями социальной справедливости. Участие в русско-японской войне укрепило его в мыслях о необходимости революционных преобразований, и в 1912 году он вступил в РСДРП, причем сразу развил в качестве ее члена такую бурную деятельность, что успел еще до начала первой мировой войны угодить в ссылку. Непосредственно из ссылки он ушел на фронт.

Так мне рассказывал отец. Однако его старшая сестра Ида Соломоновна утверждает, что ни в какой ссылке Ейсеф-Залмен никогда не был, а в партию вступил только в 20-х годах. Мне трудно судить, кто из них прав, но оба сходятся в одном: после революции Ейсеф-Залмен вместе с уже упоминавшимся другим красногорским большевиком Эле-Берлом Ривкиным организовал в поселке Миговка Климовского района

еврейскую сельскохозяйственную артель-коммуну "Единение", членом которой состоял, между прочим, и мой дед Соломон. Однако вскоре вследствие внутренних неурядиц (как я уже говорил, двое организаторов коммуны не очень ладили между собой) и крайне слабой материальной базы эта коммуна развалилась, и Ейсеф-Залмен не стал возвращаться с семьей в Красную гору, а остался жить в Миговке. Надо сказать, что к этому времени он давно уже по идеологическим мотивам порвал все отношения со своим тестем и дядей, считая того эксплуататором и "паразитом трудящихся масс".

В 30-х годах Ейсеф-Залмен жил с семьей уже в самом Климове, работал там в райпотребсоюзе и состоял внештатным инструктором райкома партии. Мой отец, который часто проводил у них в доме летние каникулы, рассказывал, что Ейсеф-Залмен вкладывал буквально всю душу в партийную работу. И даже приходя домой со службы, не мог успокоиться и начинал делиться с женой и детьми своими впечатлениями о райкомовских делах, о бестолковости рядовых климовских коммунистов и непонимании ими установок партии, о последнем выступлении товарища Сталина и т.д. Впрочем, относительно последнего жена Ейсеф-Залмена, Лия, будучи крайне далека от государственных интересов своего мужа, обыкновенно замечала: "Их как аф зайн гипергейтун тате!" ("Мне насрать на его сдохшего отца!") и начинала накрывать на стол.

Можно предполагать, что именно Ейсеф-Залмен произнес в свое время на митинге рабочих климовской швейной фабрики ту легендарную фразу, которую так любил потом повторять отец: "Когда две борбы борбутся и шмокчут нашу пролетарскую кров, мы, товарищи швейники, оплонтаем весь мир нитками!"

Тем не менее в 1937 году или немного раньше Ейсеф-Залмена исключили-таки из партии, как теперь принято говорить, по клеветническому доносу. Причем сам Ейсеф-Залмен считал, что донес на него именно Эле-Берл, а не кто-то еще.

Но Ейсеф-Залмен был не такой человек, чтобы смириться с несправедливостью. Он поехал искать правды в Москву и, используя свои старые партийные связи, сумел добиться пересмотра дела и восстановления в партии. Но этого ему показалось мало: когда в Климове секретарь райкома возвращал ему партийный билет, Ейсеф-Залмен заявил, что не считает инцидент исчерпанным и что клеветник должен быть наказан. Секретарь развел руками и сказал, что автор доноса ему неизвестен. Тогда Ейсеф-Залмен, не без оснований полагая, что секретарь лжет, положил на стол свой партийный билет и сказал, что не может состоять в одной партии с клеветником.

Я, конечно, абсолютно не уверен, что все это происходило именно так. Тем более что моя тетя Ида вообще отрицает эту историю и особенно факт восстановления в партии. И в ее рассуждениях есть резон. Думаю, читателю не нужно объяснять, что в те годы подобные проявления принципиальности были непозволительной и по большей части самоубийственной роскошью, и люди старались, как правило, их себе не позволять. И уж вдвойне сомнительно, чтобы это могло сойти с рук.

Словом, как бы то ни было, Ейсеф-Залмен, продолжая оставаться, как он выражался, "беспартийным большевиком", жил в Климове до самой войны, а в 1941 году эвакуировался со своей семьей сначала в Воронеж, а потом в Ленинабад (ныне Худжанд). В 1954 году Ейсеф-Залмен и Лия со своим средним сыном Менделем (Маней) переехали во Фрунзе и там в 1969 году умерли с интервалом в несколько месяцев.

Для того, чтобы понять, почему эвакуационная судьба привела Ейсеф Залмена, а вместе с ним, между прочим, почти всех Резниковых и всю младшую ветвь Фрейдкиных именно в Ленинабад (где, кстати, родился и автор этих строк), а не, скажем, на Урал или куда-нибудь еще, необходимо знать историю жизни старшей дочери Ейсеф-Залмена и Лии - Златы (или Зины).

12. МЛАДШИЕ РЕЗНИКОВЫ - ЗИНА, МАНЯ И БУСЯ

Перед революцией Зина училась в клинцовской гимназии и жила в доме сестры своей матери - Анеты и ее мужа Лейбы Аршавского. Еще будучи гимназисткой, она познакомилась с крупным функционером большевистского подполья Владимиром Еремеевичем Случаком и в 1919 году вышла за него замуж. Случак занимал сначала руководящие посты в Клинцах, а затем был переведен в Ташкент на должность председателя ВЦСПС Среднеазиатской республики. В 1929 году, со времени образования Таджикской ССР, он назначается заместителем председателя Совнаркома новой республики и живет в Ленинабаде, который тогда был столицей Таджикистана. С 1935 года он уже первый секретарь обкома Чимкентской области Казахской ССР.

Надо ли говорить, что это небезопасное в те времена фланирование по руководящим постам закончилось тем, что в 1937 году Владимир Еремеевич Случак был объявлен "врагом народа". Одна алма-атинская газета написала о нем, что он "продавал нашу страну оптом и в розницу одной зарубежной державе". В Алма-Ате состоялся открытый процесс, и В.Е.Случак был, натурально, приговорен к расстрелу. Однако после его реабилитации в 1956 году выяснилось, что приговор не был

приведен в исполнение, и в документах, присланных его детям, дата смерти обозначалась 1942 годом. По всей видимости, он погиб в одном из многочисленных казахстанских лагерей.

Так случилось, что вскоре после ареста В.Случака в Чимкент приехал брат Зины, Маня, которого исключили из партии заодно с его отцом, и Маня, не без оснований опасаясь ареста, отправился искать убежища и покровительства у высокопоставленного мужа своей сестры, еще не зная о постигшей того печальной участи.

К приезду Мани Зина была также арестована, но какое-то время спустя ее почему-то выпустили, и она вместе с Маней и двумя своими сыновьями - Евгением и Леонидом - буквально в чем была умчалась на родную Брянщину. Но к родителям в Климов она, по непонятным мне соображениям (возможно, наивная конспирация), не поехала, а снова, как в юности, поселилась у своей тетки Анеты в Клинцах, где зарабатывала на жизнь изготовлением искусственных цветов (до этого она работала в чимкентской газете заведующей отделом писем).

Ее старший сын Евгений, окончив перед войной десять классов, уехал в Ленинград и поступил там в политехнический институт. Мне не хочется об этом ни думать, ни писать, но, по всей видимости, Зине и ее детям пришлось в какой-то форме официально отречься от репрессированного В.Е.Случака - иначе Жене вряд ли удалось бы поступить в институт, да и сама Зина едва ли смогла бы избежать в лучшем случае лагеря для чесеиров. Впрочем, это только предположения, основанные на априорных суждениях, а в реальной жизни могло, конечно, произойти все что угодно.

В 1941 году Женя ушел добровольцем на фронт и осенью погиб где-то под Гатчиной.

Младший сын Зины, Леонид, живет сейчас в Ленинграде и работает главным конструктором в каком-то кораблестроительном НИИ.

В самом начале войны Зина, объединившись с родителями, братом Маней и его семьей, заблаговременно переехала в Воронеж. Они полагали обосноваться там надолго и успели даже устроиться на работу. А осенью на эвакопункте Ейсеф-Залмен совершенно случайно встретил Соломона Фрейдкина и его сына Иехиеля (моего отца), которые буквально из-под носа у немцев сумели вырваться из Клинцов (об этом я буду подробно рассказывать в свое время). С ними были и сестры Лии - Анета и Хава.

Оставаться в Воронеже, как выяснилось, становилось уже опасно, и на расширенном семейном совете Зина предложила ехать в Ленинабад, приглянувшийся ей больше других городов за время ее среднеазиатского анабазиса. Так мой отец оказался в Таджикистане.

Позже туда приехали на постоянное жительство его старшая сестра Ида и его старший брат Лев.

Тетя Ида до последнего времени жила в Душанбе и уехала с семьей в Израиль буквально в тот самый день, когда в Душанбе начались печально знаменитые кровавые события. А дядя Лева еще в 1987 году умер в Ленинабаде от инсульта.

Таким образом, знакомство клинцовской гимназистки с большевиком-подпольщиком в большой степени определило место моего появления на свет. Правда, сама тетя Зина об этом уже не узнала - она умерла там же, в Ленинабаде, в 1951 году, за два года до моего рождения и за пять лет до реабилитации своего мужа.

Брат Зины, Маня, почти всю жизнь прожил вместе со своими родителями. Во многом он шел по стопам своего отца - рано вступил в партию, работал вместе с Ейсеф-Залменом в артели "Единение", потом в Климовском райпотребсоюзе. За компанию с отцом он был в 1937 году исключен из партии, вместе они уехали и в эвакуацию.

В Ленинабаде Маню, который, по рассказам, отличался могучим сложением и незаурядной физической силой, призвали в армию. Но ему крупно повезло - вместо того, чтобы, подобно сотням тысяч своих ровесников и паре десятков своих близких и дальних родственников, погибнуть на полях сражений, он попал в группу советских войск в Иране (оказывается, была и такая), да еще и на небезвыгодную должность ротного повара.

Как я уже говорил, рассказывая о его отце, в 1954 году Маня со своей семьей (женой Зиной Славкиной и двумя дочерьми - Беллой и Идой) и родителями переехал из Ленинабада во Фрунзе. Вернее, не непосредственно во Фрунзе, а в его город-спутник Караболты. Это был закрытый военный городок, которых в те годы было много в Средней Азии. В этом городке Маня руководил торговлей - так, во всяком случае, называла его работу тетя Ида.

По ее рассказам, Маня был очень добрым, сердечным человеком и обладал большими организаторскими способностями. Безусловно, это очень расплывчатая формулировка и сильно смахивает на фразу из официальной характеристики, но заслуживает внимания, что, работая на такой не слишком популярной в народе должности, Маня пользовался всеобщей искренней любовью и уважением. Когда в 1977 году он скончался от инфаркта, его похороны, по словам все той же тети Иды, превратились буквально в какую-то феерию. Сотни (!) людей приходили к нему в дом, целовали покойника и плача рассказывали, сколько добра он им сделал. Траурная процессия растянулась чуть ли не на километр, несмотря на жестокий 20-градусный мороз и сильный ветер.

Предприятие, где он работал, устроило для Мани необычную могилу, пол и стены которой были обшиты досками. И перед тем как опустить в эту могилу Михаила Захаровича (так звался в миру Мендель Залманович Резников), каждый (!) из этих сотен людей, пришедших на кладбище, подошел к нему проститься.

Очень смутно припоминаю, что где-то в середине 60-х годов Маня приезжал к нам в Москву, и они с отцом подолгу сидели на кухне, разговаривая о чем-то. Как читатель увидит из дальнейшего, им было что вместе вспомнить.

У Лии и Ейсеф-Залмена Резниковых был еще один сын - Абрам. Родные и близкие звали его Бусей, а для остальных он был Аркадием Захаровичем. Вначале судьба была к нему чрезвычайно благосклонна. Буся окончил в Клинцах какой-то техникум и отправился в Среднюю Азию под крылышко к своей старшей сестре Зине. Там, благодаря протекции ее мужа, он был сразу назначен ни много ни мало референтом Совнаркома Таджикской ССР. Однако его благополучие оказалось зыбким. Как только над В.Е.Случаком разразилась гроза, Бусе во избежание худшего пришлось в экстренном порядке сменить свою прежнюю престижную должность на скромное и непритязательное место коменданта общежития Ленинградского судоремонтного завода на Канонерском острове.

Там, в Ленинграде, он и познакомился с семьей Ивана Егорова, капитана нефтеналивного судна на Ладоге, одного из блокадных героев, чьим именем названо теперь судно Балтийского флота. В его сыне Василии, который, будучи врачом военного госпиталя, спас ему жизнь во время блокады, Буся обрел верного друга, а в его дочери Полине - добрую и любящую жену.

По обрывочным и не очень внятным рассказам, в начале осады Ленинграда Буся в составе какой-то диверсионной группы был заброшен к партизанам в немецкий тыл. Однако этот отряд был блокирован в лесу, и голодать Буся начал еще там. Потом отряду удалось каким-то образом (вероятней всего, по воздуху) вернуться в Ленинград, но и в Ленинграде в то время было трудно рассчитывать на полноценное питание. И вот тогда-то Вася Егоров положил умирающего от голода Бусю, который уже весил всего 48 кг, в свой госпиталь и выходил его. Немного оправившись от дистрофии, Буся вышел из госпиталя и тут же принял активное участие в разоблачении шпионской организации на своем родном судоремонтном заводе (ох, боюсь я, что это были никакие не шпионы !).

Буся живет в Ленинграде и сейчас.

Такова, в очень общих чертах, история старшей ветви этой семьи, которая, собственно, и стала главной продолжательницей рода, поскольку потомки Ревекки Резниковой были уже Фрейдкиными, а ветви ее сестер - Анеты и Хавы - оказались, как будет видно из последующего, тупиковыми.

13. ЖИЗНЬ В КРАСНОЙ ГОРЕ. ЖЕНИТЬБА СОЛОМОНА ФРЕЙДКИНА НА РЕВЕККЕ РЕЗНИКОВОЙ

Теперь мы можем снова вернуться в 1908 год, к тому времени, когда Гинеся Гензелева (я надеюсь, что читатель еще не забыл, кто это такая) вышла замуж за Гирша Мовшевича Резникова и переехала жить в большой дом своего нового мужа. Не возьмусь судить, насколько велик был этот дом по метражу, но населен он был очень плотно. До свадьбы в нем жили Гирш Мовшевич с дочерьми Анетой, Ревеккой и Хавой и их старшая сестра Лия с мужем и тремя детьми. Теперь к ним добавились Гинеся и ее трое сыновей.

Однако вскоре взрослые дети начали, если так можно выразиться, освобождать помещение. В том же 1908 году Анета Резникова вышла замуж за Лейбу Аршавского и переехала в Клинцы в дом его родителей, а Соломон Фрейдкин был призван в армию. В последующие два года обзавелись своими семьями Меер и Пейсах Фрейдкины. Меер, как читателю уже известно, уехал к жене в Прилуки, а Пейсах с Басей Лившиц зажили своим домом здесь же, в Красной горе.

Впрочем, если в доме Гирша Мовшевича и стало просторней, то ненадолго. Вплоть до 1929 года, когда Гирш Мовшевич был раскулачен и дом у него отобрали, в нем в разное время подолгу живали и все четверо детей Пейсаха, и трое детей Лии, не говоря уже о детях Соломона - и для всех них этот дом был родным домом.

Здесь, впрочем, следует оговориться, что этот дом не был одним и тем же домом. Первый дом Гирша Мовшевича сгорел в 1921 году во время большого пожара, который почти полностью уничтожил деревянную Красную гору. Этот пожар разразился жарким летним днем в пятницу, как раз накануне благословенной субботы, и помимо прочих строений дотла сжег красногорскую синагогу. Гирш Мовшевич, как и подобало местечковому богачу, дал обет построить за свой счет новую синагогу, но времена были уже не те - новую синагогу строить не разрешили. Тогда Гирш Мовшевич отдал под синагогу часть своего нового большого дома, того самого, в котором родился в 1925 году мой отец и в котором располагается теперь красногорский райпотребсоюз.

Вообще Гирш Мовшевич был весьма религиозным человеком, но небезынтересно в этой связи, что то довольно продолжительное время, пока после пожара отстраивался его новый дом, он и вся его многочисленная семья проживали не где-нибудь, а в доме местного православного священника, отца Василия Спасского, который, как говорили, был большим приятелем Гирша Мовшевича.

Надо сказать, что поначалу взрослые дочери Резникова не очень жаловали Гинесю. Они взвалили на нее всю работу по хозяйству, обращались с ней, как с прислугой, случалось даже и бивали. Но Гинеся была женщиной кроткой и все сносила. А вскоре и совершенно неожиданно для всех начала обнаруживаться взаимная склонность Соломона Фрейдкина и Ревекки Резниковой, которая, кстати, в отличие от своих сестер, относилась к Гинесе с уважением. Причем этот зарождавшийся роман никого не обрадовал. Почему-то любовь между сводными братом и сестрой расценивалась всей родней чуть ли не как кровосмесительная связь - на фоне весьма частых браков между гораздо более близкими родственниками это выглядело по меньшей мере странным.

Особенно были недовольны Фрейдкины-Лившицы, но причина их недовольства заключалась отнюдь не в мнимом родстве влюбленной парочки. Лившицев и без того возмущал брак Гинеси с плебеем Резниковым, но Гинеся все-таки была Гензелевой, и в конце концов Бог с ней. Но Соломон-то был Фрейдкиным, и допустить, чтобы Фрейдкин породнился с дочерью этого выскочки, которая к тому же была старше его на два года, было уже никак нельзя. Поэтому, хотя обычно не принято радоваться, когда члена семьи забирают в армию, призыв Соломона был воспринят в родне с энтузиазмом, так как вселял надежду, на то что долгая разлука убьет эту нежелательную любовь.

Но чувство молодых людей оказалось сильней, чем предполагали окружающие. Ревекка терпеливо и верно ждала своего Соломона, а тот писал ей многочисленные и длинные письма со стихами собственного сочинения:

В эти долгие серые дни,
В эти длинные темные ночи
Вспоминаю я часто твои
Дорогие, любимые очи.

Почти десять лет длился этот роман в письмах. К сожалению, вся их переписка, любовно хранимая и сберегаемая, была утрачена в военное время.

А теперь, пожалуй, уже пора вернуться к тому моменту нашей хроники, когда мы оставили Соломона в 1917 году в Нижнем Новгороде, где ему, если вы помните, был предложен пост начальника городской милиции. Однако Соломон, сердце которого все эти годы рвалось домой, отказался от этой почетной и небезопасной должности и при первой возможности "на крыльях любви" поспешил в родное местечко.

Весть о том, что бравый взводный Соломон Фрейдкин возвращается к своей верной Ревекке, произвела буквально переполох среди всей "мишпохи" (родни). Гимназическая подруга Ревекки, Бася Лившиц, со своей сестрой Саррой и ее мужем Борухом-Иче Гринфельдом хотели во что бы то ни стало расстроить этот брак и вели активную пропаганду за то, чтобы женить Соломона на их младшей сестре Рисе, аргументируя этот проект тем, что он, мол, еще больше укрепит родственные связи между Фрейдкиными и Лившицами. С этой целью старшему брату Соломона, Мееру, была послана в Прилуки телеграмма следующего содержания: "Приезжай немедленно, Соломон очарован Асмодеем". Бася и ее сторонники рассчитывали, что Меер со своим непререкаемым авторитетом старшего брата сумеет повлиять на чересчур горячего Соломона.

Меер-таки не поленился и приехал из Прилук в Красную гору. Однако он не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. Разобравшись в ситуации, он, напротив, благословил брак своего младшего брата с его сводной сестрой. Более того, он показал Соломону упомянутую телеграмму, которую тот и все Резниковы расценили как прямое оскорбление.

Вот с того самого времени между Фрейдкиными-Лившицами и Фрейдкиными-Резниковыми возникло некоторое отчуждение. То есть внешне отношения между членами этих семей продолжали оставаться нормальными, но подспудно в них жила взаимная обида и прежней близости уже не было. И даже сейчас, когда давно уже нет в живых никого из участников этой ссоры, моя тетя Ида, старшая дочь Соломона и Ревекки, рассказывает об этих событиях семидесятилетней давности с таким же свежим чувством оскорбления за мать, как будто все это происходило вчера.

Все эти драматические коллизии в Красной горе, в том числе и свадьба Соломона и Ревекки, имели место в ноябре 1917 года, как раз в те дни, когда на севере, в Петрограде, разворачивались не менее значительные события, влияния которых на всю их дальнейшую жизнь никто из наших местечковых героев еще, конечно, не мог предполагать. Тем не менее Соломон, набравшись за годы солдатчины разных

революционных идей, уже вскоре после своей свадьбы принял деятельное участие в установлении Советской власти в Красной горе. Он руководил отрядом продразверстки, гонялся по округе (безо всякого, впрочем, успеха), за местными бандитами Бурчиком и Савицким, активно сотрудничал в уже упоминавшейся сельскохозяйственной артели-коммуне "Единение".

Но со временем, произведя со своей Ревеккой на свет божий троих детей - Иду, Льва и Иехиеля, бравый Соломон немного поутих. Неотступная нужда и забота о хлебе насущном отвлекли его от революционной деятельности и сильно поколебали его прежние радикальные убеждения. К тому же ввиду близкого родства с бывшим купцом третьей гильдии никакая карьера на политическом поприще была для Соломона невозможна.

Вообще Гирш Мовшевич крепко подпортил анкету своим родственникам. Когда Ейсеф-Залмена, мужа его дочери Лии и сына одного из его восьмерых братьев, исключали из партии, то среди прочих обвинений ему инкриминировали и социальное положение его тестя. И даже когда уже в 50-е годы снимали с работы и исключали из партии за космополитизм старшую дочь Соломона, Иду, то и ей сочли уместным напомнить, чем занимался до 1917 года ее родной дед.

14. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ-КОММУНА "ЕДИНЕНИЕ"

Заканчивая рассказ о жизни нашей семьи в Красной горе, мне бы хотелось немного более подробно поговорить об уже неоднократно упоминавшейся еврейской сельскохозяйственной артели-коммуне "Единение". Сделать это надо хотя бы потому, что если не все члены этой артели поголовно приходились мне близкими или дальними родственниками, то процентов на 75 она уж точно состояла из них.

История ее образования в общих чертах такова. В то время большинство местечковых евреев, не будучи по своему социальному статусу ни рабочими, ни крестьянами, оказались в весьма многочисленной категории так называемых "лишенцев" (то есть лишенных права голоса, а вместе с ним и много чего другого, включая и личную безопасность, если, конечно, в те годы вообще можно было говорить о праве на личную безопасность для кого бы то ни было) В середине 20-х годов было объявлено, что те из них, кто вступит в рабочие или сельскохозяйственные артели и станет там добросовестно трудиться на благо общества, будут восстановлены в правах и смогут снова стать полноценными гражданами. Не могу сказать. что очень

многие клюнули на эту удочку, однако определенное (и немалое!) число таких артелей появилось.

И вот красногорские лишенцы, вдохновляемые красногорскими коммунистами Ейсеф-Залменом Резниковым и Эле-Берлом Ривкиным, которые в свою очередь, очевидно, были вдохновлены свыше по партийной линии, также решили организовать такую коммуну. В 12 километрах от Красной горы, в деревне Миговка, находилось имение еврейских помещиков, брошенное своими бывшими хозяевами. В этом имении и обосновались члены нашей коммуны "со чады и домочадцы".

Все они, включая женщин и детей, работали с большим энтузиазмом. Земли были хорошие и урожаи вроде неплохие, но тем не менее дело не пошло. Причин тому было много: и не очень умелое руководство, и малочисленность и бедность самой артели, и нелады между Ейсеф-Залменом и Эле-Берлом (руководителем и бухгалтером артели), и, в немалой степени, местные банды Бурчика, Савицкого и Мурашки, которые буквально терроризировали коммунаров: вытаптывали посевы, жгли дома, да и просто нападали на работавших. Рассказывали, что мой дед Соломон имел обыкновение выходить на пашню с наганом за поясом.

Впрочем, он хотя и считался одним из самых активных коммунаров, но в отличие от большинства остальных не переехал с семьей в Миговку, а был чем-то вроде приходящего работника. А не переехал он потому, что его жена Ревекка наотрез отказалась покинуть отцовский дом, и Соломон каждый божий день ездил, если было на чем, а то и ходил пешком за 12 километров в Миговку из Красной горы.

Словом, в силу вышеизложенных причин артель-коммуна "Единение" долго не продержалась и к концу 20-х годов самопроизвольно прекратила свое существование. Что ж, как говорится, нет худа без добра. Мне рассказывали, что по соседству, в местечке Ляличи, была одна богатая и сильная еврейская артель-коммуна с дантовским названием "Най лебн" ("Новая жизнь"). Она процветала вплоть до самой войны, благодаря самоотверженному труду ее членов и энергии и организаторским способностям ее руководителя, некоего Гуревича. В августе 41 года этот Гуревич (судя по всему, большой энтузиаст своего дела) запретил своим коммунарам эвакуироваться, пока не будет собран весь урожай, однако немцы не стали дожидаться конца страды, и изо всех членов этой коммуны не уцелел ни один человек.

15. ПЕРЕЕЗД В КЛИНЦЫ. СЕМЬЯ АРШАВСКИХ

Между тем настал незабвенный 1929 год и Гирша Мовшевича Резникова раскулачили. У него изъяли все, что только смогли найти, и выгнали на старости лет из родного дома. Оставаться в Красной горе стало небезопасно, да и жить, собственно, было уже негде. И постепенно вся семья - сначала сам Гирш, Гинеся и Хава, а потом Соломон с Ревеккой и двумя младшими сыновьями - переехала в Клинцы, в дом второй дочери Резникова, Анеты, и ее мужа, Лейбы Аршавского, где уже жила к тому времени старшая дочь Соломона и Ревекки - Ида. Она приехала из Красной горы в Клинцы продолжать учебу, потому что в Красной горе учебные заведения ограничивались только четырехклассной начальной школой.

Вообще с 1929 года, когда по выражению одной из моих родственниц, "прервалась цепь времен", и начался великий исход Фрейдкиных из Красной горы. Вскоре вслед за Гиршем Мовшевичем Резниковым, был раскулачен и переехал к своим дочерям в Новозыбков Герцул Фрейдкин. Там же оказался и Азриел Лившиц, сын Хаси Фрейдкиной и Бинемина Лившица. В Новозыбкове же поселились и дочери Евеля Фрейдкина, кроме его Хаше-Ханы, которая с своим мужем Хайкиным и сыновьями Генахом, Лейзером и Хаимом переехала в Клинцы.

Должен заметить, что, по рассказам, раскулачивание в наших краях носило сравнительно мягкий характер. Никакого тебе насилия, кровопролития или ссылки в Сибирь. Просто у человека отбирали дом и имущество - и катись на все четыре стороны!

Гирш Мовшевич, уже тяжело больной и потрясенный происшедшим, так и не смог оправиться и 31 декабря 1931 года умер. После его смерти Гинеся, овдовевшая во второй раз, Соломон и Ревекка с детьми сняли на самой окраине Клинцов комнату и кухню в доме неких Певзнеров. До конца их жизни в Клинцах (десять с лишним лет) у них так и не было там своего дома, и все это время они оставались бездомными квартирантами. Хава жила то с ними, то у своей сестры Анеты.

Так печально закончился красногорский период жизни нашей семьи. В Красной горе из младших Фрейдкиных остался только Пейсах со своей женой Басей Лившиц. Но их дети к этому времени уже практически с ними не жили. Лейб был в Москве, а Гриша, Ася и Евель почти все время жили у Соломона в Клинцах, где учились сначала в школе, а потом в различных клинцовских техникумах.

Таким образом, основное действие нашей хроники переходит в Клинцы. И здесь, пожалуй, наиболее уместно это действие прервать, чтобы рассказать немного об обитавшей в Клинцах семье Аршавских. Впрочем, к тому времени как Фрейдкины и Резниковы переехали в Клинцы, почти никого из Аршавских там уже не было. Но не будем снова забегать вперед. Напротив того, нам придется еще раз возвратиться назад.

Подобно Тристраму Шенди, который, помнится, никак не мог сдвинуть свое жизнеописание с рассказа о дне своего рождения, я все время вынужден возвращаться в 1908 год, к бракосочетанию Гирша Резникова и Гинеси Гензелевой. Надеюсь, однако, что это возвращение будет последним.

Именно этой достопамятной датой и обозначается первое появление в поле нашего зрения семьи Аршавских (иногда некоторые из них писались: Ашавские), поскольку незадолго до своего брака или сразу после него (скорее, впрочем, второе) Гирш Мовшевич выдал свою вторую дочь Анету за Лейбу Аршавского, старшего сына этой большой и богатой семьи из Клинцов, что привело со временем к очень далеко ведущим последствиям, вплоть, опять-таки, до моего появления на свет.

Родители Лейбы Аршавского, Шмуел-Зуся Аршавский и Хая Файбусович владели в Клинцах булочной и пекарней и жили в большом доме на старой базарной площади (в дни моего визита в Клинцы на этом месте располагался ПКиО им. Щорса).

Хая родила своему мужу 13 детей, из которых, впрочем, большинство умерло в младенчестве и выжили только пятеро: трое старших сыновей - Лейба, Исаак и Михаил и две младших дочери - Фаина и Ревекка. Эта последняя родила в 1926 году в браке с Давидом Моисеевичем Клямером мою мать, Мирру Клямер, и, стало быть, приходится мне родной бабушкой. Она единственная (если не считать Фаины Григорьевны Слуцкер, о которой я не знаю, жива она сейчас или нет), из всего поколения моих бабушек и дедушек жива до сих пор и обитает в Калгари (Канада), куда уехала в 1975 году со своим младшим сыном Самуилом Клямером.

Шмуел-Зусю Аршавского женили во второй половине 80-х годов прошлого века, когда ему было 16 лет, а его невесте - 19. Не знаю, сам ли он сколотил свое богатство, досталось ли оно ему по наследству или в приданое, но жила семья Аршавских очень богато. У них был даже свой выезд - роскошь, доступная немногим в еврейских местечках.

Интересно, что внучка Шмуела-Зуси, Фира, говорила мне, будто бы, несмотря на все это, в подвале их пекарни работала большевистская подпольная типография и в этой связи отношения

Шмуела-Зуси с полицией были весьма натянутыми. Честно говоря, мне представляется это не очень достоверным - уж больно далекими от политики людьми были все Аршавские. Разве что подпольщики материально заинтересовали Шмуела-Зусю, а может, и запугали - как известно, в практике большевистского подполья имело место как первое, так и второе. Но вероятней всего, это семейная легенда, созданная в те годы, когда каждому лояльному гражданину для спокойной жизни было желательно иметь уж если не пролетарское происхождение, то, на худой конец, хотя бы революционное прошлое.

Говоря об Аршавских, очень трудно выделить какие-то их общие фамильные черты. Дети Шмуела-Зуси довольно сильно отличались друг от друга и внешностью и чертами характера. Определенно можно сказать только то, что, в отличие от Фрейдкиных, они не были склонны к интеллектуализму и самоанализу и, в отличие от Резниковых, не обладали артистическими и музыкальными способностями. Не свойственна была для них и атмосфера постоянного острословия, подначек и розыгрышей, взаимных (зачастую довольно злых) насмешек, царившая в домах у Фрейдкиных и Резниковых. Им было чуждо фрейдкинское упрямство и стремление к самоутверждению и резниковское жизнелюбие и отсутствие комплексов. И если, когда я думаю о своей скромной персоне, я в общих чертах представляю себе, в чем я - Фрейдкин, в чем я - Резников и даже в чем я - Клямер, хотя о семействе Клямеров мне неизвестно практически ничего, то представить себе, в чем я - Аршавский, мне довольно сложно. Единственной чертой, объединявшей всех Аршавских (и то преимущественно мужчин), была редкая усидчивость и трудолюбие, но, к сожалению, этими достойными качествами я ни в коей мере не обладаю. Мне остается надеяться, что по ходу нижеследующего рассказа о детях Шмуела-Зуси читатель сам сумеет сделать какие-то обобщающие выводы об особенностях этой семьи.

16. ЛЕЙБА АРШАВСКИЙ И АНЕТА РЕЗНИКОВА. ИХ СЫН БОРИС

Старший сын Шмуела Зуси, Лейба, был невысоким, тощим, рыжеватым и болезненным человеком. Этим последним качеством он существенно отличался от своих младших братьев и сестер, которые редко жаловались на здоровье (вернее, жаловались-то они часто - болели редко) и все дожили до глубокой старости.

Женившись на Анете Резниковой, Лейба продолжал еще некоторое время жить в доме своих родителей. Поговаривали, что все "дело" ведет он. Надо сказать, что дом Аршавских в Клинцах был довольно

безалаберным и неуютным. Кажется, моя прабабушка Хая Файбусович была не очень хорошей хозяйкой. Впрочем, что требовать от женщины, которая постоянно была беременна и потеряла восьмерых детей.

Вскоре Лейба отделился от семьи и зажил в Клинцах в своем собственном большом пятикомнатном доме, который благополучно стоит и по сей день. И благодаря умной, гостеприимной и чтущей родственные связи Анете этот дом, подобно дому ее отца в Красной горе, на долгие годы стал приютом для многих младших Фрейдкиных и Резниковых, приезжавших в Клинцы учиться в средних учебных заведениях этого городка.

К середине 20-х годов все братья и сестры Лейбы перебрались в Москву, а в 1926 году, после того как у Шмуела-Зуси были реквизированы дом и пекарня, за ними последовали и родители. Но, приехав в Москву, Шмуел Зуся неожиданно и скоропостижно умер от воспаления легких, после чего его жена Хая вернулась обратно в Клинцы и поселилась в доме своего старшего сына. Но и ему не суждено было прожить долго. Лейба Аршавский несколько лет страдал от чрезвычайно мучительной болезни (рак яичек), и в 1934 году Анета и Хая отвезли его в Москву, где ему была сделана операция, вскоре после которой он умер.

Анета с сыном Борисом вернулась в свой дом в Клинцы, а Хая осталась в Москве, где на старости лет познала горькую судьбу короля Лира, скитаясь по домам своих неблагодарных сыновей и дочерей, которые отфутболивали ее один к другому и третировали старуху-мать как ненужную и опостылевшую приживалку. Они никак не могли решить, у кого из них она должна жить, и старались свалить эту тяжкую повинность один на другого, причем когда Хая жила у кого-то одного, все остальные платили тому некоторую сумму на ее содержание.

Все эти некрасивые подробности, как говорится, не нуждаются в комментариях. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что, по рассказам, Хая не отличалась уживчивостью и легким характером.

Во время войны она или сама не захотела никуда ехать, или никто из детей не взял ее с собой в эвакуацию (мне передавали как ту, так и другую версию), но как бы то ни было, она осталась в Москве и в 42 или 43 году умерла на руках у Моти - домработницы своего сына Михаила, которая и похоронила ее. Приходилось мне слышать и такие предположения, будто бы Миша умышленно оставил мать в Москве, чтобы она приглядывала за его квартирой и имуществом, но в это уж совсем не хочется верить.

Сын Лейбы и Анеты, Борис, был, судя по всему, отчаянным и веселым парнем. С грехом пополам окончив в Клинцах школу, он уехал

в Москву, где работал на заводе "Компрессор" и жил в общежитии. В 1938 году его призвали в армию. Унаследовав по материнской линии резниковскую музыкальность, Борис попал в музвзвод, где, если верить сохранившейся фотографии, играл на ударных инструментах, в составе которого в 1939 году участвовал в оккупации Западной Украины и Молдавии, а когда началась война, попал под Одессу и оказался уже почему-то в разведроте.

В этой разведроте у Бориса был друг, который не поладил с командиром, и тот послал его на какое-то заведомо невыполнимое и гибельное задание. Узнав об этом, Борис вызвался пойти на задание вместо своего друга, на что командир посоветовал Борису не лезть не в свои дела. Борис ответил, что если его друг не вернется, то пусть командир пеняет на себя. Друг Бориса с задания, естественно, не вернулся, и тогда Борис зашел в командирскую землянку и без долгих разговоров застрелил своего ротного командира.

Удивительно, что военный трибунал приговорил Бориса не к расстрелу, а всего лишь к штрафбату. Очевидно, в осажденной Одессе каждый, способный носить оружие, был на вес золота.

В штрафном батальоне Борис провоевал под Одессой до самой ее сдачи, а потом с остатками ее защитников был переброшен морем под Севастополь. В 1942 году, за два дня до сдачи города, тяжело контуженный, с простреленными легкими, он был вывезен морем из Севастополя и, комиссованный вчистую после госпиталя, отправился к своей матери, которая, если читатель помнит, находилась в то время в эвакуации в Ленинабаде.

Борис так и не сумел оправиться от своих многочисленных ранений, тем более что с легкими у него, кажется, было не все в порядке еще до войны, и в 1946 году умер в Москве, куда Анета привезла его в тщетной надежде на московских врачей.

Впрочем, все та же тетя Ида (так получилось, что она постоянно выступает в моей хронике в роли трезвого скептика, развенчивающего чересчур красивые семейные предания, хотя это, между прочим, совершенно не соответствует ее характеру и складу ума) категорически отрицает всю эту историю со штрафбатом и убийством ротного командира. Свое отрицание она довольно убедительно мотивирует, во-первых, тем, что у Бориса были военные награды (которых штрафники, как известно, не получали), а во-вторых, тем, что Борис считал ее своим самым близким другом (и судя по сохранившимся письмам, это действительно было так) и она не могла бы обо всем этом не знать. А по ее словам, она впервые услыхала об этой истории только от меня.

Мне же об этом рассказывали и мой отец, и его брат Лев, и двоюродная сестра Бориса, Белла Аршавская.

Ну, что касается первого, то награды Борис мог получить еще до штрафбата, а что касается второго, то здесь, на мой взгляд, возможны два психологически одинаково достоверных варианта. Либо всей этой истории на самом деле не было и Борис ее выдумал сам, чтобы все знали, какой он геройский парень, но своему лучшему другу Иде врать не захотел; либо наоборот, - все это правда, но Иде Борис говорить об этом постеснялся, чтобы та не подумала, будто он хвастается своими подвигами. Непонятно только, почему (независимо от того, правда все это или нет) Ида, которая обычно знает все и обо всех, за 40 лет ни разу об этом не слыхала, хотя бы от своих братьев.

Наверно, будь на моем месте С.Смирнов или К.Симонов, они бы подняли военные архивы, нашли однополчан Бориса и сумели бы тем или иным способом установить истину. Но мне в этом случае (как, впрочем, и во многих других) не представляется особо существенным, убивал Борис своего командира или не убивал. На мой взгляд, когда тот или иной эпизод прочно обосновывается в мифологии, уже не так важно, имел ли он место в действительности. С течением времени то, что было, и то, что лишь могло быть, превращаются в две почти неотличимые и равновероятные ипостаси одного и того же события. Причем подлинность повествования нисколько не страдает от подобной двусмысленности. Скорей, наоборот.

После смерти Бориса Анета продала свой дом в Клинцах, чтобы на вырученные деньги жить в Москве, где она поселилась у младшего брата своего покойного мужа, Михаила Аршавского. Но в 1948 году ее ожидала новая беда: во время часто теперь вспоминаемой денежной реформы она лишилась всех своих сбережений и практически осталась без средств к существованию, поскольку, как мне известно, она не имела никакой специальности и никогда нигде не работала.

Я не знаю точно, каким образом это произошло, но мне рассказывали, что, вольно или невольно, этому способствовал ее шурин, Меер Элькин (более подробно о нем см. ниже), который уговорил ее перед самой реформой купить на все деньги не то часы, не то что-то еще, чтобы потом продать, или что-то в этом роде. В общем, все это не важно, а важно то, что ничего из этой аферы почему-то не вышло, и Анета осталась без денег.

А вскоре после этого и, очевидно, в связи с этим у Анеты произошел инсульт и ее парализовало. И начиная с этого момента в моем рассказе об Анете появляются несуразицы. Из того, что мне известно, получается так, что Анета (уже парализованная) переехала

обратно в Клинцы и поселилась там в том самом доме, который она якобы продала, и жила в нем вместе со своей сестрой Хавой, приехавшей из Ленинабада ухаживать за ней.

То, что Анета свои последние годы (она умерла в 1956 году) жила вместе с Хавой в Клинцах, причем именно в своем доме, а не где-нибудь еще, сомнений не вызывает. Я своими глазами видел в Клинцах этот дом и ее могилу и своими ушами слышал рассказ Двоси Иосифовны Рогинской (в девичестве Резниковой), ее двоюродной сестры, живущей в Клинцах до сих пор, об этом отрезке ее жизни. Двося Иосифовна и показала мне дом - тот самый большой дом из пяти комнат. С другой стороны, сведения о продаже этого дома и об утрате вырученных денег также достаточно достоверны. Словом, здесь какая-то загадка, разгадывать которую я не берусь, да и, как я уже говорил, не считаю необходимым.

Но ни потери близких, ни тяжелая болезнь, ни прочие несчастья не сломили Анету, и она, будучи, судя по тому, с каким уважением о ней отзываются все, кто ее знал, женщиной энергичной и весьма неглупой и находясь на точке пересечения семьи Фрейдкиных-Резниковых с семьей Аршавских, из своего клинцовского уединения (деньги на жизнь ей посылали в Клинцы родственники из Средней Азии, и в первую очередь, Ида Фрейдкина и Маня Резников) вела обширнейшую переписку, направляла и координировала все родственные отношения и являлась для всей родни непререкаемым авторитетом. За глаза ее звали "наш юрист с Почетухи" (если читатель помнит, это название слободы в Клинцах).

Обладая незаурядным красноречием и даром убеждения, Анета была третейским судьей в нравственных и денежных конфликтах, улаживала ссоры, организовывала браки. И хотя соединение в ее лице семей Резниковых и Аршавских не имело продолжения (Борис умер, не успев оставить потомства), Анета приложила немало усилий, чтобы новыми нитями связать эти семьи между собой.

Так, это она способствовала браку Лейбы Фрейдкина, старшего сына ее сводного брата, Пейсаха, с Беллой Аршавской, дочерью Исаака, младшего брата ее покойного мужа. И в ее же не знавшем покоя мозгу родилась мысль женить Иехиеля Фрейдкина, младшего сына другого ее сводного брата, Соломона, и ее родной сестры Ревекки, на Мирре Клямер, дочери Ревекки Аршавской, самой младшей сестры Лейбы Аршавского. Она (Анета) так и писала в письме к Соломону: "Соломончик! Что я тебе хочу сказать. Пускай твой Хиля женится на Мусеньке. Это тебе будет хороший компот на старости лет".

Так младший сын младшего Фрейдкина и средней Резниковой женился на дочери младшей Аршавской, в результате какового брака спустя некоторое время и появился на свет автор этих строк.

17. ИСААК АРШАВСКИЙ И СЛАВА ВОРОНОВА. ИХ ДОЧЬ БЕЛЛА

Второго сына Шмуел-Зуси Аршавского и Хаи Файбусович звали Исааком. В молодости это был невысокого роста, курчавый, кареглазый брюнет, имевший в родне репутацию жуира, краснобая и отчаянного ходока по женской части. Последнее, впрочем, не следует, как мне кажется, понимать чересчур буквально. В еврейских местечках правила морали были обыкновенно довольно строгими и ни о каком сколько-нибудь серьезном донжуанстве не могло быть и речи. И хотя Исаак, по всей видимости, был действительно неравнодушен к прекрасному полу и перед тем, как жениться, пересмотрел чуть ли не всех невест в округе, можно с уверенностью утверждать, что ни одна из них не пала жертвой его чисто умозрительного сластолюбия.

Причем надо сказать, что вкусы Исаака в этом отношении не отличались особой изощренностью и он был, по выражению Гоголя, "большой аматер по части женской полноты". Когда он произносил свою излюбленную фразу: "О-о, это интересная женщина!", он, как правило, показывал обеими руками, что именно имел при этом в виду. Тем не менее после долгих поисков он-таки нашел себе на самом деле очень красивую жену - Славу Воронову, из соседнего местечка Сураж.

Семья Вороновых была очень бедной, и, кажется, Исаак женился чуть ли не против воли своего богатого отца. Если это было так, то женитьба была, наверное, единственным решительным поступком в его жизни. Но когда он сумел убедить Шмуел-Зусю в правильности своего выбора и Аршавские поехали в Сураж на смотрины, сватовство все-таки едва не расстроилось из-за того, что у Вороновых селедку к столу подали не в селедочнице, а в простой тарелке.

Исаак женился почти одновременно с Соломоном Фрейдкиным - в ноябре 1917 года. И почти одновременно у них родились две дочери: у Соломона - Ида, а у Исаака - Белла. Забавно, что оба они мечтали о сыновьях, и Соломон, чтобы подшутить над родственником, устроил так, чтобы Исааку передали, будто бы у него (Соломона) родился сын, и Исаак долго переживал эту несправедливость, пока каким-то образом не узнал правды.

Вообще над Исааком в родне любили подтрунивать и постоянно рассказывали о нем какие-то анекдотические истории. Про то, как он в 1915 году, приехав по каким-то делам в Москву, попал в облаву на

дезертиров и угодил на несколько дней в тюрьму, откуда потом не хотел выходить - настолько ему понравилось играть там в очко с уголовниками. Про то, как уже во время гражданской войны он организовал в Клинцах дружину еврейской самообороны, которая разбежалась при первом появлении неприятеля (неизвестно, впрочем, какого именно). Про то, как примерно в то же время он был насильно мобилизован в бригаду Щорса, но, прослужив там ровно три дня, дал бригадному врачу взятку в виде золотых часов, и тот написал ему справку об увольнении по состоянию здоровья. И все в таком роде.

В 1921 году Исаак с семьей отправился в Москву. Сначала они жили в Марьиной роще у родных его жены, а потом переехали на второй этаж дома на Трубной улице, в котором жили два его двоюродных брата - Лейба и Ейсеф - со своими многочисленными семействами. В этом доме Исаак и прожил почти всю свою жизнь.

Подобно большинству старших Аршавских, Исаак не был искушен в науках и искусствах, а прилежно и трудолюбиво занимался своим скромным ремеслом - он был часовых дел мастером, причем специализировался на больших - настенных или напольных - часах. До тех пор, пока это было возможным, он имел собственную мастерскую, а потом работал в государственных.

Судя по всему, он неплохо знал свое дело. В числе его личных клиентов были, как мне рассказывали, такие известные коллекционеры часового антиквариата, как Хенкин, Смирнов-Сокольский, А.Толстой, Образцов, Руденко, Лемешев, Козловский и другие знаменитости.

Я помню дедушку Исаака уже в очень преклонном возрасте. В старости это был чрезвычайно тихий, спокойный, но совсем не мрачный человек, любивший при случае поговорить о том о сем и вспомнить молодые годы.

Кроме старшей дочери Беллы, у Исаака Аршавского и Славы Вороновой, о которой, к сожалению, мне совершенно нечего рассказать, был еще и сын Абрам, который, окончив школу, поступил в московский университет. Но учиться там ему не пришлось - началась финская война и Абрам был призван в армию, где и оставался вплоть до начала следующей войны. А осенью 41 года Абрам погиб в боях под Москвой. Говорили, что внешне он был очень похож на Пушкина. Моя бабушка Ревекка Аршавская показывала мне его фронтовые письма. Это были обычные письма тех лет: жив-здоров, сидим в окопах, бьем немцев и т.д.

Белла Аршавская, окончив перед самой войной медицинский институт, тоже хотела пойти на фронт, но в военкомате ей отказали, и она уехала по распределению в небольшой киргизский городок Токмак.

Вскоре к ней туда приехали и родители. Но в 1942 году, узнав о гибели младшего брата, Белла все-таки добилась своего и стала врачом полевого госпиталя 1-й гвардейской армии, с которым прошла всю войну до самой Германии.

В 1946 году, вернувшись вместе с родителями в Москву, Белла стараниями тети Анеты вышла замуж за Лейба Пейсаховича Фрейдкина, о котором я уже рассказывал, когда говорил о семье Пейсаха Фрейдкина. Сейчас тете Белле уже далеко за 70. Она, по специальности врач-невропатолог, работает до сих пор, сохранила отличную память и ясный ум. Очень многое в моей хронике записано с ее слов.

Говоря о тете Белле, хотелось бы отметить вот какой факт: хотя все старшие Аршавские, за исключением Михаила, были не слишком образованными людьми и не имели особой тяги ни к знаниям как таковым, ни к учению как к процессу, они приложили много усилий, чтобы все их дети (кроме глухонемой дочери Фаины, Сарры, а также Бориса и Абрама, в чьи судьбы вмешалась война) получили высшее образование. Младший сын Михаила Аршавского, Александр, в 35 лет был доктором наук, сын Ревекки, мой родной дядя, Самуил Клямер, в том же возрасте был кандидатом. Да и остальные, в частности та же Белла, много лет проработавшая в 4-й градской больнице, не ударили в грязь лицом, покончив, так сказать, с интеллектуальной отсталостью рода Аршавских.

Но несмотря на это, в отношении моего отца, Иехиеля Фрейдкина, скажем, к старшему сыну Михаила, Семену Аршавскому (очень одаренному инженеру), с которым они были дружны, всегда чувствовался оттенок некоторого внутреннего превосходства и снисходительной покровительственности. И такое отношение, я думаю, не изменилось бы, стань Семен хоть академиком. По-видимому, дело здесь не в образовании и общей культуре, в чем мой отец если и превосходил Семена, то ненамного - просто Фрейдкины обладали очень цельными характерами и в общении с Аршавскими, чьи фамильные черты всегда были несколько размыты, естественно, стремились доминировать.

18. МИХАИЛ АРШАВСКИЙ И ЮЛИЯ КАЦНЕЛЬСОН

Младшего брата Исаака звали Михаилом. Я не уверен, что именно это имя было ему дано при рождении, но другого я не знаю. Михаил Аршавский был непохож на остальных детей Шмуела-Зуси - в отличие от них, он был довольно высок ростом и голубоглаз. Разница между ним и его братьями и сестрами заключалась еще и в том, что ему,

единственному среди них всех, удалось получить, как я уже говорил, весьма основательное образование. Он учился в университетах Варшавы и Дерпта и получил диплом врача-венеролога в Московском университете, попав в так называемый "первый выпуск советских врачей".

Очевидно, он первым среди всех Аршавских обосновался в Москве и имел свою комнату в доме по Б. Комсомольскому переулку. Подобно Исааку, Миша довольно долго выбирал невесту, но, не будучи столь бойким, как его старший брат, и не желая, очевидно, тратить драгоценное время на жениханье и ухаживанье, он был вынужден прибегать к услугам шадхенов (сватов). Причем всех своих кандидаток в жены Миша показывал Исааку и его жене Славе, чье мнение он очень ценил. Но тем не менее в 1924 году он женился на зубном технике Юлии Кацнельсон, хотя та и была забракована Исааком по причине недостаточной, на его взгляд, красоты ног. Однако Миша был человеком серьезным, и в невесте его привлекали не преходящие женские прелести, а вещи более существенные, каковыми в данном случае являлись зубопротезный кабинет и собственная квартира в самом центре Москвы, в доме на Никольской улице (в то время улица 25 Октября), где Миша и прожил всю жизнь (между прочим, в этом же доме в одной из коммуналок жил перед войной тогда еще не академик Андрей Дмитриевич Сахаров).

Здесь следует отметить, что мне рассказывали о Шмуеле-Зусе Аршавском как о человеке добром, отзывчивом и сердечном во всем и ко всем, но только до тех пор, пока речь не заходила о деньгах. И его сын Миша в полной мере унаследовал от отца такую особенность характера. Никакие университеты не смогли в нем вытравить эту отчасти низменную черту.

Вообще, как мне представляется, Мишино образование носило узкий и сугубо специальный характер, не затрагивая других областей человеческих знаний, помимо венерологии (впрочем, и в венерологии его специализация была очень узконаправленной - он лечил только, я извиняюсь, триппер, но зато в этом деле обладал, как мне говорили, просто выдающейся квалификацией).

Всю свою жизнь и все навыки в благородной профессии врача Миша употребил на сколачивание состояния и, надо сказать, весьма в этом преуспел. Причем, подобно многим людям такого склада, сам он жил очень скромно, чтобы не сказать аскетически, и, натурально, не позволял себе ни малейших излишеств.

Особенно удачными для его коммерции (Миша, помимо заведования мужским отделением кожно-венерологического диспансера,

занимался частной практикой лечения мочеполовых болезней) оказались послевоенные годы, когда солдаты и офицеры победоносной Советской Армии, возвращаясь домой с полей покоренной Европы, привозили с собой в числе прочих трофеев и огромное количество всевозможных венерических заболеваний, среди которых, разумеется, преобладал самый демократичный и общедоступный из всех - излюбленный Мишей триппер. Естественно, большинство жертв этого весьма распространенного во все времена недуга, и в первую очередь, высокопоставленные офицеры, не хотело афишировать эти свои приобретения и предпочитало лечиться приватным порядком, не скупясь на гонорары для доктора, умеющего хранить врачебную тайну. Впрочем, Мишиными услугами порой не пренебрегали и лица гражданских профессий - в родне с уважением и завистью поговаривали, что ему случалось врачевать таких знаменитостей, как Гаркави и даже Дунаевский (будем относиться к этому как к сплетням, не заслуживающим ни малейшего доверия).

Как бы то ни было, кабинет Миши не пустовал, и трипперный бизнес оказался настолько продуктивным, что в 1948 году во время уже упоминавшейся денежной реформы всем многочисленным Мишиным родственникам пришлось по нескольку раз отстаивать очереди в сберкассах, обменивая его сбережения.

Кстати уж об отношениях Миши с родственниками. Зная, как он богат, большинство из них почему-то считало его обязанным если не разделить свое богатство между ними, то во всяком случае щедро и безотказно помогать им во всех начинаниях, связанных с денежными затратами. А так как Миша по их мнению не всегда добросовестно выполнял этот свой священный родственный долг, то из рассказов о нем порой вырисовывается такая зловещая и мрачная фигура, перед которой бледнеют Гарпагон и Гобсек.

Отношения родственников к Мише хорошо иллюстрирует такой забавный эпизод уже из моего детства. Когда он приходил к нам в гости (а наша семья, замечу в скобках, жила в те годы, по выражению О.Генри, "не то чтобы в вопиющей нищете, а, скорей, в красноречиво молчащей бедности"), он обыкновенно приносил что-нибудь к чаю - вафельный торт, несколько сдобных булочек или что-то еще. И каждый раз после его ухода моя бабушка Ревекка, его родная сестра, начинала говорить, что, мол, Миша, такой богатый человек, мог бы принести что-нибудь получше, побольше и подороже. И вот однажды, когда Миша в очередной раз к нам пришел, я (мне было тогда лет 7-8), наслушавшись бабушки, спросил его: "Дядя Миша, а почему вы опять нам так мало принесли?"

Мой обычно немногословный и сдержанный отец, уязвленный в своей фрейдкинской гордости, тогда так накричал на меня, что я запомнил это на всю жизнь. Можно себе представить, как для него, Фрейдкина до мозга костей, была оскорбительна мысль о том, что кто-то может подумать, будто он или его дети нуждаются в подачках богатых родственников.

Словом, Миша был богат и скуп, хотя это последнее обстоятельство ни в коей мере не извиняет не слишком щепетильное отношение к нему со стороны родственников. Впрочем, они довольно скоро научились приспосабливаться к его душевным свойствам и, когда возникала нужда в деньгах, обращались не непосредственно к нему, а к его жене Юлии, которая, как правило, никому не отказывала (Существует, однако, группа родственников, которая придерживается противоположной версии и считает, что сам Миша был добрым человеком, а все проявления его скупости - это результат дурного влияния жены и ее сестры Лизы, которая жила вместе с ними и имела в родне забавное прозвище "Лейка - Вольный Воздух").

Словом, хотел того Миша или нет, но его финансовая помощь родным была, как мне представляется, довольно значительной. Да и сами масштабы его скупости мне видятся несколько преувеличенными, потому уже хотя бы, что в рассказах моих родственников о тех или иных семейных делах рядом с риторическими утверждениями о том, как скуп был Миша, то и дело мелькает: Миша помог, Миша устроил, Миша дал денег...

У Миши и Юли было двое сыновей - двухметровые гиганты Семен и Александр. Они оба были очень талантливыми инженерами, и оба всю жизнь страдали от тяжелейшей формы наследственного (по материнской линии) диабета, который и свел их обоих в безвременную могилу.

Задолго до смерти своего отца они жестоко рассорились из-за ожидаемого наследства и из-за якобы неравномерного распределения между ними отцовской материальной помощи. Причем ссора эта была весьма неэстетичной - со скандалами, чуть ли не драками и разоблачительными письмами друг другу на работу. Не берусь судить, кто из них был прав, если вообще можно быть правым в подобной ситуации.

Помирились они только перед самой Мишиной смертью, когда им самим уже оставалось жить на свете считанные годы.

Я прекрасно помню их обоих, и хотя мое общение с ними было крайне редким и поверхностным (немного чаще я видел Семена, дружившего с моими родителями), мне представляется, что причинами этой некрасивой истории были не столько вульгарные меркантильные

интересы (хотя, конечно, не обошлось и без этого), но в большей степени глубокие внутрисемейные неурядицы, отчасти связанные с особенностями характера их родителей и со спецификой домашнего воспитания.

19. ФАНЯ АРШАВСКАЯ И МЕЕР ЭЛЬКИН

Перейдем теперь к дочерям Шмуела-Зуси. Их было, как я уже говорил, две - Фаина (Фаня) и Ревекка (Рива). Старшая из них, Фаня, в 1921 году вышла замуж за Меера Элькина.

Семья Элькиных в Клинцах представляла собой довольно интересное явление. Отец Меера, Лейб Меерович Элькин, по профессии был часовщиком, и у него, между прочим, брал первые уроки часового дела Исаак Аршавский. Сам же Лейб Меерович не столько ремонтировал часы своих односельчан, сколько предавался гораздо более серьезному и возвышенному занятию - он конструировал вечный двигатель, причем состоял в постоянной переписке по этому актуальному вопросу механики с Циолковским и Калининым. Я, впрочем, думаю, что "состоял в переписке" - слишком громко сказано и в лучшем случае эта переписка была только односторонней.

Всю жизнь (а прожил Лейб Меерович 88 лет) он просидел на чердаке своего дома, погруженный в захватывающий процесс научного творчества и совершенно пустив на самотек суетные заботы о содержании жены и пятерых детей.

Судьба его сына, Меера, оказалась богатой на неожиданные повороты. Все началось с того, что незадолго до революции его старший брат, бывший, кстати, нареченным женихом той самой Славы Вороновой, на которой впоследствии женился Исаак Аршавский, уехал из Клинцов в Америку, неплохо вроде бы там устроился и начал слать письма на родину, приглашая к себе свою невесту и брата. Слава Воронова по неизвестным мне причинам ехать в Америку не захотела, а Меер, недолго думая, собрался, сел на поезд и поехал. Было ему тогда лет 17-18.

В то время из России в Америку, ввиду чрезвычайно напряженной обстановки в Европе, ездили через Сибирь и Дальний Восток. И вот, протрясясь пару недель в Транссибирском экспрессе и доехав до станции Зима, воспетой в бессмертных стихах Евгением Евтушенко, Меер внезапно ощутил такой прилив ностальгии, что сошел к чертовой матери с поезда и решил плюнуть на эту Америку, пусть она сгорит.

На какое-то время его приютил один железнодорожный служащий из местных, а потом по его рекомендации Меер решил отправиться на заработки на Урал в небольшой городок Мотовилиху. Чтобы, как говорится, не возвращаться домой с пустыми руками. Там он устроился киномехаником в частный кинематограф. Не знаю, много ли он успел заработать, но жениться и обзавестись ребенком он успел.

Впрочем, через год и жена и ребенок скоропостижно умерли, а сам Меер по мобилизации попал в Красную Армию и стал механиком на бронепоезде. С Урала бронепоезд был переброшен на Украину и принимал участие в боях с Деникиным. А когда, волею судеб, этот бронепоезд, вырываясь из окружения, оказался в 1919 году в Клинцах, Меера, умирающего от черной оспы, боевые товарищи принесли на шинельке в дом к его родителям и оставив 25-литровую бутыль чистого спирта и рекомендацию поить Меера этим спиртом три раза в день, поехали дальше.

Естественно, в Клинцах, где прежде и не слыхали о таких экзотических болезнях, началась паника. Все домашние разбежались кто куда, а односельчане стали далеко обходить дом Элькиных. С Меером осталась только его мать. Спирт ли сыграл тут решающую роль, целительная ли рука матери, или молодой организм сам сумел справиться с недугом, но, вопреки всем предсказаниям, Меер выздоровел, а выздоровев, начал активно и небезуспешно ухаживать за нашей Фаней Аршавской, учившейся в то время на клинцовских курсах фармацевтов-провизоров. Однако закончить эти курсы ей было не суждено - в 1921 году состоялась свадьба, а вскоре после нее молодые уехали в Москву. Таков уж был путь всех Аршавских.

Трудно сказать, почему Меер, по рассказам очень красивый и обаятельный молодой человек, пользовавшийся исключительным успехом у женщин и девушек, остановил свой выбор на Фане, которая, подобно почти всем женщинам из рода Аршавских, отнюдь не была хороша собой (кажется, исключение составляла только моя бабушка Ревекка - хотя и по этому вопросу мне приходилось слышать различные суждения) и была вдобавок старше Меера лет эдак на пять-шесть. Логично предположить, что здесь имели место чисто материальные соображения, поскольку в семье Меера никогда не было достатка, чему в немалой степени способствовал подвижнический образ жизни ее главы, а Фаня, как ни крути, была богатой невестой.

Что же касается разницы в возрасте, то, как мне кажется, евреи вообще не придавали этому вопросу большого значения. В те времена их представления о возрасте носили несколько абстрактный характер и редко выражались определенной цифрой. Обычая отмечать дни

рождения в еврейских местечках не было, и зачастую не каждый еврей мог точно сказать, сколько ему лет. Так что, если жениху было 20-22 года, а невесте - 26-28, то оба они подходили под категорию "молодых людей" и считались ровесниками. Впрочем, я не думаю, что это было особенностью только еврейских местечек. В русских, белорусских и украинских селах, сколько мне известно, к этому вопросу относились примерно так же.

Злоключения Меера не закончились и после женитьбы. Уже в Москве он в 1925 году как-то пошел на знаменитую Сухаревку с невинной, казалось бы, целью - купить коляску для своей только что родившейся младшей дочери Сарры (старшая дочь, Эсфирь, родилась тремя годами раньше). На Сухаревке в тот злополучный день случилась облава, а у Меера, как на грех, оказались с собой золотые часы и еще какие-то золотые безделушки. В те годы этого было более чем достаточно для обвинения в спекуляции золотом. Счастливого отца немедленно арестовали и без долгих разбирательств отправили в ссылку в село Колпашево Томской области. Что называется, "сходил за хлебушком".

Так во всяком случае выглядит эта история в рассказе старшей дочери Меера, Фиры - другие родственники туманно намекали, что Меер пострадал не совсем без вины и что он вообще имел склонность к разного рода сомнительным сделкам и гешефтам (здесь обычно вспоминают и злополучную историю с деньгами Анеты). Как обстояло это дело в действительности, теперь, конечно, установить трудно, да, собственно, и ни к чему.

Фаня, как верная жена, не могла оставить своего мужа в беде и, взяв с собой трехлетнюю Фиру и трехмесячную (!) Сарру, поехала в ссылку за ним.

В Колпашево они пробыли сравнительно недолго - около полутора лет (не знаю точно, к скольким годам приговорили Меера, но все это время его родственники, и в первую очередь Миша, неустанно бомбардировали всевозможные инстанции письмами и ходатайствами - шутка ли, человек в ссылке!), но и этих полутора лет хватило, чтобы маленькая Сарра, переболев дифтеритным менингитом, осталась глухонемой на всю жизнь.

После возвращения Меера из ссылки Миша сумел как-то устроить Фане с Меером комнату в том доме на улице 25 Октября, где жил в то время он сам. Там они и прожили вплоть до конца 60-х годов, когда их квартирные условия немного улучшились - их старшей дочери, Фире, дали комнату от работы.

Фаня одно время (впрочем, очень недолго) работала медицинской лаборанткой в лаборатории по исследованию рака грудной железы, благодаря чему стала считаться в родне специалистом по этому заболеванию и регулярно производила всем женщинам профилактические ощупывания на предмет его выявления. Все, конечно, относились к этому с большой долей иронии, но тем не менее Фаня сумела определить рак у своей сестры, моей бабушки Ривы. Ей своевременно сделали операцию, и она жива до сих пор. А Фаня, между тем, умерла несколько лет назад.

Вообще Фаня была женщиной деятельной, энергичной и хваткой. Говорили, что она, единственная из всех родственников, могла заставить раскошелиться Мишу, причем зачастую делала это не только для себя.

Когда началась война, Меер с Фаней сначала не собирались никуда уезжать из Москвы, тем более что Меер был мобилизован в народную дружину. Но во время первой же бомбежки Фиру, которая в качестве дежурной санитарки находилась во дворе своего дома, ранило в голову осколком нашего зенитного снаряда. Рана, к счастью, оказалась неопасной, но пока это выяснялось, Фаня временно ослепла от нервного потрясения. Впрочем, специалисты из клиники им. Гельмгольца сумели довольно быстро вернуть ей зрение, но во избежание рецидивов Меер отправил ее с детьми в Молотов (так тогда называлась Пермь) к родным его первой жены, куда 16 октября 1941 года приехал и Миша с семьей и двумя термосами, набитыми золотом и драгоценностями, оставив, как я уже рассказывал, свою престарелую мать на попечение верной домработницы Моти. Кстати, там же, в Молотове, но уже без всякой связи с Аршавскими находилась в эвакуации и С.Э.Гельфанд.

Что еще о Фане и Меере? Их дети. Старшая, Фира, окончила после войны полиграфический институт и всю жизнь проработала редактором в Воениздате. Хотя она отнюдь не была лишена женской привлекательности, личная жизнь у нее не сложилась. Она одинока - у нее нет ни семьи, ни детей. Младшая, глухонемая Сарра, стала портнихой. Одно время она была замужем за неким Гольдиным, родила от него дочку Люсю, но вскоре их брак распался.

Закончить рассказ о Фане и Меере можно таким забавным эпизодом: когда после 50 лет совместной жизни им понадобилось официально зарегистрировать свои отношения, в ЗАГСе к этому делу отнеслись неформально и вместо положенных двух месяцев на размышление дали только один.

20. РЕВЕККА АРШАВСКАЯ И ДАВИД КЛЯМЕР

Младшим ребенком в семье Аршавских была моя бабушка Ревекка (или Рива). После окончания гимназии она вела в Клинцах рассеянный и местами светский образ жизни, имея множество поклонников, кавалеров и женихов, в числе которых пребывал и красавец-коммивояжер Давид Клямер. Вскоре Рива вслед за своими братьями и сестрами поехала в Москву под предлогом продолжения учебы. Но по фамильной традиции ни к наукам, ни к изящным искусствам у Ривы никаких склонностей не было, и вместо учебы она в 1925 году вышла в Москве замуж за упомянутого Давида Клямера. Впрочем, к этому времени ей было уже под 30.

Свадьбу сыграли в доме Исаака на Трубной улице, а жить молодые стали в комнате того дома по Б.Комсомольскому переулку, где жил до своего брака Миша.

У моей сестры сохранилась фотография бабушки и дедушки с маленькой мамой. На ней они оба выглядят весьма импозантно, а дедушка Давид отчасти даже смахивает на Гарри Пиля.

Надо сказать, что Шмуел-Зуся согласился на этот брак своей младшей дочери скрепя сердце и о новом зяте отозвался примерно так: "Я не имею ничего против этого интеллигентного молодого человека, но боюсь, моя дочь будет с ним всю жизнь нуждаться". И-таки он оказался прав! Хотя Давид Клямер и был по профессии коммивояжером или, как выражалась бабушка, "финансистом", хотя он и окончил в свое время коммерческое училище, хотя он проработал всю жизнь в торговле и снабжении - он был человеком до последней степени непрактичным и склонным ко всевозможным фантазиям, химерам и воздушным замкам. Вдобавок он, по всей видимости, был еще и излишне щепетилен в вопросах порядочности, потому что проработать столько лет в советской торговле и остаться до самой смерти практически нищим (я не преувеличиваю) человек менее строгих правил просто не сумел бы.

Однако Давид постоянно строил различные планы и комбинации, которые, как он мечтал, должны были принести ему богатство и которые, разумеется, оказывались мыльными пузырями. Словом, он в полной мере олицетворял собой бессмертный тип еврейского неудачника и мечтателя, выведенный Шолом-Алейхемом в образа Менахем-Мендла, чьи грандиозные финансовые начинания всегда завершались письмами к жене с просьбой выслать денег на обратную дорогу.

К сожалению, о семье Клямеров мне практически ничего не известно. У моей сестры сохранилась фотография отца дедушки Давида

- Моисея Клямера, который в 20-х годах жил с бабушкой и дедушкой в Москве и во время эвакуации умер от голода в Красноярске. На этой фотографии изображен внушительный светлоглазый и седобородый старец в ермолке - но это, увы, все, что я могу о нем сказать.

Известно мне еще, что у дедушки Давида были старший брат Матвей и старшая сестра Надя (кто из них старше и каковы их еврейские имена, мне неведомо), а также младшие брат Исаак и сестра Аня.

Матвей с молодых лет жил в Канаде (он эмигрировал в 1904 году) и стал там весьма состоятельным человеком - он владел гардинной фабрикой. У него было двое детей - Гарри и Мариам. Мариам умерла в начале 80-х годов, а Гарри еще жив, но как мне говорили, смертельно болен (тот же рак крови, от которого умерла и моя мать)

Смутно помню, как в начале 60-х годов Матвей приезжал в Москву и подарил нам пианино, на котором мы с сестрой учились музыке и которое я потом продал, как дурак, в комиссионку.

Надя жила в Москве и среди родных имела репутацию (а может и вправду была) сумасшедшей. Рассказывали, что она очень любила своего мужа и слегка тронулась, когда узнала, что он ей изменяет. Говорили также, что после приезда Матвея Давид с Надей крупно поссорились при дележе подарков, которые привез заокеанский родственник. (Читатель, должно быть, обратил внимание, что аналогичные конфликты довольно часто имели место в моей родне, и, честно говоря, у меня до сих пор не очень хорошо укладывается в голове, как люди, во всех остальных вопросах болезненно щепетильные и порядочные, могли позволять себе участие в подобных мелочных склоках. Я всегда был весьма терпим во всем, что касается бытовой этики, но здесь, на мой взгляд, нарушаются не столько этические, сколько внутренние эстетические нормы и критерии самооценки, которыми, как мне представляется, люди руководствуются в своих поступках гораздо чаще и нарушить которые человеку, как правило, много трудней). Ссора эта зашла так далеко, что Надя в 1963 году даже не пришла на похороны Давида, умершего от рака желудка. Он умирал дома на наших глазах, и смерть его была мучительна.

Младший брат дедушки Давида, Исаак, погиб под Москвой в рядах необученного и почти безоружного ополчения, брошенного в критический момент затыкать прорванный фронт.

Аня жила в Ленинграде. Ее муж умер во время блокады, а сын Лева погиб на фронте. Мои родители были дружны с семьей Нины, младшей дочери Ани. В шестидесятых годах мы несколько раз проводили лето у них в Григориополе, а недавно этот тихий городок под

Тирасполем стал ареной военных действий. К счастью, семья Нины уже перебралась к этому времени во Владимир.

У дедушки Давида был еще и двоюродный брат по материнской линии Залмен-Иче Кушлин. О нем известно, что он жил в Москве и обладал прекрасным лирическим тенором. Его даже приглашали по еврейским праздникам петь в московскую синагогу. Его дочь Ева Исааковна Лурье (заметьте, что она выбрала для своего отчества второе имя отца - Иче=Исаак) до недавнего времени (она умерла в конце 1993 года) жила в Израиле неподалеку от города Хайфа. За три года до смерти она приезжала в Москву и рассказала мне, что, по всей вероятности, предки дедушки Давида жили где-то в Прибалтике, каковая, как известно, до 1939 года не входила в состав СССР, и поэтому всякая связь с ними была утрачена.

А приезжала Ева Исааковна ради двух дел: вставить зубы, что здесь обходится на порядок дешевле, чем на исторической родине, и для того, чтобы пристроить в дом для престарелых свою старшую сестру Софью Исааковну, которая уже несколько лет находилась в крайне тяжелом состоянии после инсульта. К сожалению, из-за своей болезни и очень преклонного возраста Софья Исааковна не смогла мне ничего рассказать ни о своих родственниках, ни о Нюрнбергском процессе, где она была стенографисткой. И теперь уже не расскажет, потому что умерла вскоре после отъезда своей сестры.

Вот, собственно, и все, что мне известно о семье Клямеров. И это тем более досадно, потому что, живя долгое время вместе с бабушкой и дедушкой, я, безусловно, имел возможность получить о нем и его семье исчерпывающую информацию, но: по неуважительным причинам, указанным в предисловии, не удосужился этого сделать. Ясно одно, Клямер всегда оставался в каком-то смысле чужаком в родственной триаде Фрейдкиных-Резниковых-Аршавских, и его родные не стали полноправными членами этого клана. Поэтому я сейчас и не могу никого из них отыскать, даже если предположить, что кто-то из них и находится в пределах досягаемости.

В 1926 году у Ривы и Давида родилась дочь Мирра. Мама с младенческих лет была удивительно красива и при этом абсолютно непохожа на свою мать. Бабушка даже жаловалась родственникам, что на улице во время прогулок никто не верит, что это ее дочь. Семь лет спустя у бабушки с дедушкой родился сын Самуил (в быту Сема), названный в память отца бабушки Шмуела-Зуси. Исходя из этого, можно с некоторой натяжкой предположить, что мою маму назвали Миррой в память матери дедушки Давида, и таким образом установить ее гипотетическое имя. Но это лишь предположение.

Жили бабушка с дедушкой очень бедно - Миша одно время был даже вынужден давать им ежемесячную дотацию. Говорили, что этого от него добилась Фаня. Представляю, с какими унижениями все это было связано. Вдобавок, моя бабушка, подобно своей матери, Хае Файбусович, была не слишком хорошей хозяйкой, и в ее доме, по словам Евы Исааковны Лурье, всегда было неприбрано и неуютно.

Во время войны вся семья жила в эвакуации в Красноярске. По всей видимости, туда эвакуировали сотрудников Наркомфина, где перед войной работала бабушка. Хотя, честно говоря, я плохо себе представляю, что она могла там делать, поскольку она не имела никакой специальности. В Красноярске, естественно, жизнь в материальном отношении была еще тяжелей. Денег не хватало даже на то, чтобы платить за московскую комнату, и по возвращении в Москву выяснилось, что из этой комнаты их выселили за неуплату. Неизвестно какими путями удалось добиться восстановления московской прописки и получения 13-метровой комнатки в двухэтажном бараке поблизости от нынешней станции метро "Войковская" - в то время это была далекая и беспросветная окраина города.

Я не имею никаких сведений о том, как обстояло дело с интеллектуальными способностями в роду Клямеров, но надо полагать, что неплохо, поскольку и мама, и ее брат учились отлично и, кажется, оба окончили школу с медалями, а унаследовать тягу к знаниям по линии Аршавских они никак не могли. Впрочем, дедушка Давид если и не был сам образованным человеком, то во всяком случае относился к образованию с почтением, и именно его стараниями у нас в доме была собрана довольно неплохая библиотека русской и зарубежной классики. И это при том, что в доме никогда не бывало лишней копейки.

И мама, и Сема кончили институты. Мама - филфак ленинского пединститута, а Сема, кажется, - институт химического машиностроения или что-то еще, но связанное с химией. Хотя особенного пристрастия именно к химии он не имел. Просто поступать ему пришлось в начале 50-х годов, а это было не лучшее время для абитуриентов его национальности, и после безуспешных попыток поступить в МАИ и в МВТУ им. Баумана он пошел куда взяли. Впрочем, он, кажется, никогда не жалел о выбранной специальности. Он и в СССР сумел стать кандидатом наук и завлабом, и в Канаде сейчас ведущий инженер крупной фирмы по очистке газов.

Жизнь мамы сложилась так, что она не много работала. Вскоре после окончания института она вышла замуж, уехала с отцом в Ленинабад и родила там меня. Когда мне было два года, она приехала в Москву рожать мою сестру Лену (отец по каким-то делам был вынужден

остаться на время в Ленинабаде). Вторые роды были очень тяжелыми, и, собственно, после них мама стала болеть. Впрочем, кажется, еще до брака она лечилась от туберкулеза. Сначала подорванное здоровье давало себя знать только эпизодически, и мама работала - то секретаршей в музыкальной школе, где учились мы с сестрой, то отвечала на письма читателей "Пионерской правды", то преподавала русский язык и литературу в разных школах. А в 1968 году мы узнали, что мама больна неизлечимо - у нее обнаружили мейломовое заболевание крови (рак крови).

В 1971 году на операционном столе Института гематологии и переливания крови мама умерла.

Есть воспоминания настолько мучительные, что они непереносимы физически. Так, я не могу вспоминать свой визит к маме в больницу за день до ее смерти. Она умирала, и мы оба это знали, но я просто не хотел об этом думать. Она прощалась со мной, смотрела на меня с любовью и обожанием и в то же время боялась сказать лишнее слово, омрачить мою молодую жизнь своей смертью. Я все это видел и не замечал. Не потому что не хотел, а мне было не до того. Я торопился уйти по своим делам - и очень быстро ушел. Что она думала, что чувствовала тогда...

Я не буду сейчас подробно говорить о жизни и характерах моих родителей (об этом речь пойдет во второй части моей хроники, если, конечно, у меня хватит на нее духу), но хотелось бы отметить вот что: несмотря на то, что литература и изящные искусства традиционно считались прерогативой Фрейдкиных, в нашей семье все, что было с этим связано, шло от мамы. И хотя уровень ее культурных пристрастий был, наверное, по сегодняшним моим снобистским меркам не слишком высок, ее влечение в частности к литературе было подлинным. Она даже пыталась что-то писать сама - однажды я случайно наткнулся на наброски какого-то семейного романа в духе Толстого.

Во всяком случае, только благодаря маме я в три года уже умел читать, а с пяти лет начал осознанно сочинять стихи. Да и моя сестра Лена выбрала профессию учительницы литературы тоже, я думаю, не случайно.

В 1955 году, вскоре после рождения Лены, из Ленинабада приехал отец. Первое время родители жили в подмосковном поселке Рублево, где отец преподавал физику в школе, а потом переехали к родителям мамы. Квартирные условия были там очень тяжелыми даже для тех времен. В этой несчастной 13-метровой комнате мы жили всемером: бабушка, дедушка, мама, папа, я, Лена и мамин брат Сема. Жизнь осложнялась и враждой на национальной почве с соседкой Фросей,

которая была женщиной истеричной, боевой и, имея большой опыт и вкус к коммунальным баталиям, не останавливалась даже перед подливанием помоев и жидких испражнений в наши кастрюли. И когда в 1958 (или 59) году нам дали на шестерых (Сема к тому времени женился на Софье Литвер и переехал к ее родителям) отдельную двухкомнатную квартиру на улице З.и А. Космодемьянских, считалось, что это хоромы.

В этой квартире наша семья и жила до 1977 года. Причем ее численность постоянно и неуклонно уменьшалась. Первым в 1963 году умер дедушка Давид. Потом, в 1971, умерла мама.

Мы остались вчетвером - бабушка, отец и мы с сестрой, и хуже всего, как я понимаю теперь, приходилось бабушке. С отцом они никогда не ладили - не знаю, было ли здесь что-то большее, чем традиционная неприязнь зятя и тещи, но когда умерла мама, они стали и подавно совершенно чужими людьми. Общее горе их не сблизило, а, наоборот, еще больше оттолкнуло друг от друга. Да и мы с сестрой относились к бабушке со всей беспощадной жестокостью, какая только свойственна молодости.

Потеряв мужа и дочь, бабушка осталась в доме у людей, которым она была не нужна и которые ее не любили. Она часто плакала от одиночества, и я помню, как в глаза смеялся над ее слезами. Бабушка пыталась как-то принимать участие в нашей жизни (вернее: в наших жизнях, потому что жили мы каждый сам по себе), но она мало что в ней понимала, и все ее неуклюжие и жалкие попытки кончались только новыми обидами.

И ее отъезд в 1975 году с сыном Семой в Канаду (бабушке было тогда 77 лет) оказался для нее безусловно лучшим выходом, хотя и там ей приходится, как я знаю, не очень сладко. А мне в то время семейные дела были настолько безразличны, что я даже не пришел с ней проститься.

Говорят, долголетию способствуют положительные эмоции. У моей бабушки Ревекки жизнь была не очень веселой, а старость - и вовсе печальной, а в 1992 году ей исполнилось 95 лет. Впрочем, я уже говорил, что все Аршавские - долгожители.

21. ЖИЗНЬ В КЛИНЦАХ. ХАВА РЕЗНИКОВА

Итак, описав вкратце семью Аршавских, мы можем теперь снова вернутся к семье Соломона Фрейдкина, которая, как читатель помнит, в начале 30-х годов переехала из Красной горы в Клинцы.

Должен заметить, что когда мои родственники рассказывают о жизни в Красной горе, то их воспоминания, как правило, выдержаны в более или менее мажорных тонах, чего совершенно невозможно сказать про аналогичные рассказы о жизни в Клинцах. В этих рассказах о клинцовском периоде жизни нашей семьи (а он продолжался с 1931 по 1941 год) светлые краски практически исчезают. Отчасти это связано с тем, что вообще в нашей стране 20-е годы были малость повеселей, чем 30-е. Но, разумеется, нельзя все ставить в прямую зависимость от политического климата - безусловно, многие семьи и в 30-х годах жили совсем неплохо, и необязательно это были семьи сталинских палачей.

Что же касается нашей семьи, то удар, нанесенный событиями 1929 года, оказался для нее нокаутирующим. И прежде всего в экономическом отношении. После переезда в Клинцы и смерти Гирша Мовшевича Резникова семья Соломона впала в совершенно беспросветную бедность. Отец вспоминал, что самым ярким впечатлением его детства было постоянное непреходящее чувство голода.

Соломон сначала работал красильщиком в артели "Челнок", а позже - мелким складским служащим в управлении "Клинцсукно" и получал 300 рублей. (Замечу в скобках, что Соломону пришлось всю жизнь работать на таких вот незначительных должностях. Впрочем, здесь не обошлось без казуса: в бумагах, оставшихся после смерти отца, я нашел профсоюзный билет Соломона, относящийся уже к ленинабадскому периоду его жизни и выданный профессиональным союзом рабочих добычи золота и платины - так вот в этом билете в графе "профессия" у Соломона значилось: ответственный исполнитель. Хотел бы я знать, что под этим имелось в виду.), Примерно столько же получала и Хава (сестра его жены Ревекки), работавшая штопальщицей на чулочно-носочной фабрике. Сама Ревекка уже тогда очень болела и работать не могла, а вскоре в 1934 году она умерла от рака печени в климовской районной больнице.

Сейчас, после многочисленных денежных реформ, трудно судить о реальной покупательной способности тех 600 рублей в месяц, которыми располагала тогда наша семья, но если принять во внимание, что она состояла из семи человек (Соломон, Ревекка, Гинеся, Хава и трое детей - Ида, Лев и Иехиель) и что нужно было еще платить за жилье, так как своего дома в Клинцах семья не имела, то можно себе представить, с каким трудом им удавалось сводить концы с концами.

Кроме того, в 30-е годы хлеб в Клинцах в свободной продаже был только с 36 по 38 год, а все остальное время действовали карточки, талоны и прочие формы ограничения потребления (особенно тяжелым

было начало тридцатых годов, когда до Брянщины докатывались волны страшного украинского голода). На нашу семью, состоявшую в основном из иждивенцев, приходилось 2,5 буханки в день, то есть примерно по 350 грамм на человека - немногим больше блокадной нормы. А если прибавить, что даже своего огорода они, будучи квартирантами, не имели, то вырисовывается довольно мрачная картина. Впрочем, одно время они пополам с соседями держали корову со странной кличкой Понетька, но вскоре и ее пришлось продать из-за невозможности прокормить.

Чтобы отоварить хлебные карточки, очередь занимали с вечера и дежурили всю ночь, сменяя друг друга. Отец дежурил с 6 до 8 утра - после этого он шел в школу. Ему запомнился такой случай: рано утром около магазина разгружалась машина с хлебом. Очередь терпеливо ждала. Вдруг какой-то человек, проходивший мимо, схватил одну буханку и бросился бежать. За ним погнались и взрослые и мальчишки, в том числе и отец. Но погоня получилась недолгой - человек внезапно упал, и когда к нему подбежали, он был уже мертв.

Словом, если и прежде жизнь Соломона не текла молоком и медом, то в Клинцах она как будто взялась доконать его. В 32 году заболела его любимая Ревекка, и 8 марта 1934 года она умерла. После смерти Ревекки ее сестра Хава, как говорили, очень надеялась, что Соломон женится на ней, и, если отбросить предрассудки, это действительно напрашивалось. Но ее надежды оказались напрасными - Соломон и думать не хотел о новом браке. Очевидно на этой почве, у Хавы с Соломоном испортились отношения, и она переехала жить к своей сестре Анете. Вообще Хава всю жизнь не имела своего угла, жила то у Анеты, то у Соломона и, кажется, была несчастным, одиноким и неприкаянным существом.

Хава (читатель помнит, что это младшая дочь Гирша Мовшевича Резникова) в молодые годы, подобно всем женщинам рода Резниковых, была очень недурна собой, и в Красной горе у нее наклевывалось что-то вроде романа с неким Мейшке Райхштатом. Но тот, увы, был бедняком и Гирш Мовшевич, в то время еще купец третьей гильдии, согласия на брак не дал. Не берусь судить, насколько сильным было чувство Хавы к этому парню, но с той поры она почла свою жизнь разбитой и наотрез отказывала всем женихам. И единственной, сколько мне известно, попыткой устроить свою судьбу оказалось это неудачное и даже скорей всего не высказанное вслух сватовство к Соломону.

До смерти своего отца Хава постоянно жила с ним, а потом, с 31 по 34 год, - у Соломона, с 34 по 41 - у Анеты. В 41-м они все вместе уехали в эвакуацию в Ленинабад. В 46-м Анета уехала в Москву, и Хава

осталась с Соломоном. В 48-м (кажется) году, когда Анету парализовало и она вернулась в Клинцы, Хава поехала к ней ухаживать за сестрой. А после ее смерти в 56-м году Хаву опять забрал к себе Соломон, живший уже в Душанбе, и когда он умер в 65-м году, она осталась там с его дочерью Идой и умерла в глубокой старости в 1972 году.

Впрочем, установить точно ее возраст представляется затруднительным, так как мне рассказывали, будто бы она во время первой советской переписи населения в 1936 году по непонятным мне соображениям убавила себе чуть ли не 10 лет. Странно, что в рассказах о ней я ни от кого не услышал ни единой теплой и сострадательной нотки. А ведь какая, если подумать, горькая и неустроенная жизнь!

22. КАМПАНИЯ ПО ИЗЪЯТИЮ ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННОСТЕЙ. ИСТОРИЯ АЗРИЕЛА ЛИВШИЦА

В конце 1933 года в Клинцах началась кампания по изъятию у населения золота и драгоценностей, о которой, помню, так весело было читать у Булгакова. Не знаю, насколько успешно она протекала в масштабах всего городка, но могу сказать с уверенностью и некоторой даже гордостью, что от моих родственников властям многого добиться не удалось. В частности, Лейб Аршавский, муж Анеты, даже будучи уже одной ногой в могиле, предпочел выкинуть бутылку с золотыми монетами в колодец и отсидеть несколько месяцев в тюрьме, нежели добровольно выдать свои сбережения.

Кстати, мне рассказывали, что в этой клинцовской тюрьме помимо традиционных для того времени методов воздействия на заключенных (об этих методах я буду говорить чуть позже) применялись и другие, не вполне тривиальные. Один из них заключался в следующем: арестовывали самых уважаемых стариков-евреев и под конвоем водили их по камерам, чтобы они агитировали сидящих там соплеменников сдавать драгоценности. На практике это выглядело так: стариков заводили в камеру, и они выкрикивали: "Реб такой-то, гит он! (отдай!)", но при этом, поскольку конвойный оставался за спиной, показывали кукиш, недвусмысленно давая понять, что именно следует отдавать.

Одним из активных участников этой кампании был клинцовский следователь Короткин (или Короткий). Подобно многим палачам сталинского времени, он был евреем и, более того, чуть ли не каким-то нашим дальним родственником. Мой отец хорошо помнил, как однажды вечером, около восьми часов, Короткин с несколькими милиционерами явился с обыском в дом Соломона и ласково спрашивал у 8-летнего

отца: "Где у твоего папы лежат такие блестящие желтые кружочки или колечки?" Обыск продолжался до 4 часов утра, причем даже на двор по нужде и мужчины и женщины выходили в сопровождении милиционера. Тем не менее, найти ничего не удалось, хотя у Соломона и имелся золотой портсигар - единственная, впрочем, семейная драгоценность и реликвия.

Чтобы не уходить с пустыми руками, Короткин арестовал Соломона и Хаву. (кстати, едва ли не в тот же день в Феодосии был арестован по тому же поводу и старший брат Соломона, Меер). Соломона, однако, через несколько часов отпустили домой. А Хаву как дочь бывшего купца третьей гильдии держали около трех месяцев. От нее добивались признания следующим способом: ее ставили спиной к раскаленной печке-буржуйке, чтобы нельзя было прислониться, и оставляли на ногах по 24 часа, в то время как постоянно меняющиеся следователи вели допрос. От этого у Хавы началась непрерывная нервная икота, и когда Короткин на нее кричал: "Хватит притворяться, ведьма!", Хава ему отвечала: "Попробуй притворись так сам, изверг!". Но, несмотря на все усилия, добиться от Хавы ничего не удалось, как мне думается, по той простой причине, что, вероятней всего, у нее ничего и не было, и через три месяца ее выпустили.

Вскоре стало известно, что в клинцовскую тюрьму привезли из Новозыбкова Азриела Лившица, сына Хаси Фрейдкиной и Бинемина Лившица. Азриел был человеком весьма и весьма состоятельным, и у него, надо полагать, имелось в немалом количестве то, что так интересовало следственные органы. Однако и здесь Короткина ждала неудача, хотя среди прочих истязаний несчастному Азриелу (а ему было в то время уже далеко за 50) ведерной клизмой заливали воду в нос, а потом клали доску на живот и прыгали на ней. Но Азриел не раскалывался. Тогда Короткин арестовал двух его сыновей, один из которых (кажется, Григорий) был, между прочим, младшим краскомом и впоследствии вернулся с Великой Отечественной войны без руки, ноги и глаза, и начал пытать их при нем. Этого Азриел вынести не смог и сказал Короткину: "Все, я признаюсь. У меня есть золото. Поезжай туда-то, там все зарыто". Короткин, как дурак, поехал, куда сказали, но, конечно, ничего в указанном месте не нашел. "Ай, ты, наверно, плохо искал! - сказал Азриел. - Давай я поеду с тобой и все покажу". Они поехали вместе, и по дороге Азриел каким-то образом сбежал. Короткин несколько раз стрелял ему в спину, но не попал.

Далее мой отец, с чьих слов я рассказываю эту историю, описывает такую картину: он сидел дома, кажется, болел; его мать Ревекка, умирающая от рака печени, лежала на печи, укрывшись с головой

каким-то тряпьем, и непрерывно стонала; бабушка Гинеся сидела за столом и штопала чулок. Вдруг открылась дверь и вбежал Короткин. Он был очень взволнован и с порога закричал: "Бабушка Гинеся, где твой племянник?" "Тебе лучше знать, - ответила Гинеся, - он же у тебя сидит. А если сбежал, то молодец, что сбежал". Так стало известно, что Азриел сбежал. Его ловили, искали у всех родных, и даже когда Соломон отвозил Ревекку в Климов в больницу, где ей и суждено было умереть, переодетый в штатское Короткин провожал их до самого поезда.

Однако Азриел, в отличие от Короткина, был не дурак. Понимая, что на железнодорожной станции в Клинцах его будут ждать, он как-то добрался до другой железнодорожной ветки и уехал в Смоленск. Там он прорвался в кабинет председателя облисполкома (тогда Клинцы относились к Смоленской области) и рассказал обо всем, что ему пришлось испытать. Как это ни странно, но ему поверили, отпустили с миром и даже дали какую-то бумагу, чтобы он мог забрать своих сыновей из клинцовской тюрьмы.

Когда Азриел "со щитом" вернулся к изумленному Короткину за сыновьями, тот спросил его: "Слушай, Азриел, как же ты не боялся бежать? Ведь я стрелял в тебя, мог тебя убить!" "Ха! - ответил Азриел. - Я же знаю, как вы стреляете! Разве вы умеете стрелять? Вы же палачи, вы умеете только пытать!"

Когда мой отец рассказывал мне эту историю, она, честно говоря, казалась мне не очень правдоподобной. Особенно ее счастливый конец. Но со временем выяснилось одно обстоятельство, которое если и не подтверждает ее окончательно, то во всяком случае делает немного более достоверной. Где-то в самом начале своей хроники я упоминал, что один из видных революционеров - Подвойский - был родом из Красной горы. Так вот, мне рассказали, что в юности Подвойский был большим приятелем Азриела и тот якобы из Смоленска сумел связаться с ним и попросил заступничества. Что ж, возможно, это было и так, хотя я не уверен, что Подвойский к 1934 году обладал еще сколько-нибудь реальной властью.

Вообще же об Азриеле, несмотря на всю эту отчасти героическую историю, все мои родственники отзывались крайне неодобрительно, припоминая за ним всякие сомнительные махинации, кляузы и анонимные доносы.

Когда началась война, Азриел эвакуировал на всякий случай из Новозыбкова свою семью, но сам никуда не поехал, во всеуслышание заявляя, что он имел с немцами хорошие гешефты еще во время первой немецкой оккупации и что он не верит во все эти "бобэ майсес"

(бабушкины сказки) о том, что немцы, мол, убивают всех евреев - не такие они идиоты, им же надо с кем-то иметь тут дело. Энергия и предприимчивость этого человека были таковы, что, даже убедившись в своей роковой ошибке, он не пал духом. Азриел собрал у не успевших или не захотевших уехать новозыбковских евреев все их золото и драгоценности, присовокупив, надо полагать, и от себя все то, во имя чего он принимал муки от рук Короткина и его присных, и предложил это немцам в качестве отступного за их жизни. Надо ли рассказывать, чем все это кончилось?

23. ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ. ГИБЕЛЬ ГИНЕСИ

После смерти Ревекки и переезда Хавы к Анете, Соломон остался в Клинцах со своей матерью Гинесей и тремя детьми. В 1936 году его старшая дочь Ида уехала в Москву учиться в ИФЛИ, а вскоре и Лева отправился в Сталино (ныне Донецк) поступать в политехнический институт. Перед самой войной 80-летнюю Гинесю парализовало после инсульта, и она стала совсем беспомощной.

Лето 1941 года отец проводил в Климове у Лии и Ейсеф-Залмена Резниковых. Они дружили с Соломоном и, чтобы облегчить его тяжелое материальное положение, часто забирали к себе на лето его детей и даже прикупали им кое-что из одежды. Непосредственно 22 июня отец с Маней, который к тому времени уже был женат, собирались ехать за дровами. С ночи отец улегся спать на сеновал, и Маня разбудил его в 6 утра. Они взяли подводу и поехали в лес километров за десять. На обратном пути, когда они проезжали через какую-то деревню, им встретилась плачущая старуха, которая причитала: "Ох, сыночки! Война, сыночки!" Маня, человек несколько бесцеремонный и раздражительный, закричал на нее: "Что ты несешь, старая дура! Какая еще война тебе приснилась?" - "Война, сыночки! Немец напал!".

В Климове все были уже в волненье и тревоге. Отца стали срочно собирать домой, в Клинцы.

Надо сказать, что отец (ему было в июне 41-го неполных 16 лет) с большим энтузиазмом воспринял известие о войне. Он, будучи вполне сыном своего времени, считал, что война окажется быстрой и победоносной и, натурально, будет вестись только на территории противника. И он искренне недоумевал, почему не все окружающие разделяют его оптимизм. Однако развитие событий довольно скоро убедило его, что если до чужой территории дело и дойдет, то во всяком случае это будет не сразу.

Фронт стремительно приближался к Клинцам. Через город шли многотысячные толпы беженцев из Украины, Белоруссии, и то, что они рассказывали, очень мало было похоже на ту войну, которую отец рисовал в своем воображении. Клинцовские евреи в большинстве своем стали тоже собираться и уезжать. Но для Соломона и отца, имевших на руках парализованную Гинесю, это было не так просто. У нее к тому же началась еще и гангрена. Лечивший ее врач прописал какие-то порошки и настойчиво повторял, что давать их можно только по одному, а если дать два, то она уснет и не проснется. Намек был прозрачен, но у Соломона не поднималась рука.

4 июля, после известного выступления Сталина по радио, Алексей Михайлович Смоленский (директор школы, в которой учился отец) собрал оставшихся учеников и объявил, что все старшеклассники мобилизуются на рытье окопов. Когда собрание окончилось, отец подошел к директору и сказал ему, что не может оставить умирающую бабушку. На это Алексей Михайлович ответил почти канонической для тех лет фразой: "Тебе кто дороже - Родина или бабушка?"

Надо сказать, что этот пламенный патриот впоследствии довольно активно сотрудничал с немцами, за что и получил после их изгнания весьма приличный срок. Вообще учителя школы, в которой учился отец, оказались в этом смысле на высоте. Преподаватель физкультуры Кречмар стал начальником местной полиции, преподаватель биологии - его заместителем, а преподаватель Конституции СССР (был в школьной программе тех лет и такой интересный предмет), как человек политически грамотный, стал бургомистром.

Короче, отцу пришлось поехать на эти земляные работы. Ребят погрузили в товарные вагоны и куда-то повезли. Ехали они долго, больше стояли. Впрочем, долгие стоянки были даже необходимы, так как, поскольку в дороге не кормили (а ехали пять суток), то на остановках можно было послоняться по станциям и выклянчить, а то и стащить чего-нибудь из еды. В Брянске состав попал под бомбежку. причем когда объявили воздушную тревогу, то ребят неизвестно зачем загнали в вагоны и заперли снаружи.

Через пять дней их привезли в Рославль и скомандовали выгружаться. (Честно говоря, у меня не укладывается в голове, как они могли ехать пять суток - от Клинцов до Рославля ну никак не больше 300 километров. Хотя по тем временам чего могло не быть?) Приехала грузовая машина. На нее было велено погрузить вещи, а самим оставаться ждать следующую. Следующая пришла только через сутки. На ней их привезли в какую-то деревню на берегу Десны. Там уже работало несколько десятков тысяч человек. Жить было негде. Спать

приходилось на голой земле. Работали по 12 часов в день. Еду привозили из Москвы, и она была очень плохая: мясо - тухлое, хлеб - заплесневелый. Но даже это привозили не всегда.

Над работающими постоянно летали немецкие самолеты-разведчики (нашего самолета отец за это время не видел ни разу), и летали, как оказалось, не зря - немцы обошли этот грандиозный укрепрайон, даже не дожидаясь, пока его достроят до конца. Женщин и подростков еще успели в последний момент вывезти через горящий и совершенно разрушенный Рославль, а все прочие строители так и остались в этом котле.

В аналогичный котел, только уже под Харьковом, попал примерно в то же время и старший брат отца, Лева, о котором до 43 года вообще не было никаких известий, и все считали его погибшим.

12 августа измученный, изголодавшийся и натерпевшийся страху отец вернулся в Клинцы. Однако долго приходить в себя и отдыхать ему не пришлось. 16 августа какой-то проезжий военный начальник собрал всех еще оставшихся в Клинцах евреев и заявил им, что Красная армия сдавать Клинцы не собирается, а если это и произойдет, то все население будет вывезено в организованном порядке. Так что никому не следует трогаться с мест и создавать панику и заторы на дорогах стратегического значения.

Сейчас, конечно, трудно сказать, было ли это злонамеренной провокацией или просто роковым стечением обстоятельств, но ровно через двое суток после этого оптимистического заявления в Клинцы уже входили немцы. Надо, впрочем, отметить, что клинцовские евреи, наученные горьким опытом отношений с советской властью, не восприняли сообщение проезжего военного начальника чересчур буквально. А Соломон, придя домой с собрания, так и сказал отцу: "Хиля, если они говорят оставаться, значит, надо брать ноги на плечи и ехать, пока целы".

Но уехать было уже очень сложно. Никакие поезда, конечно, не ходили, а пешком с парализованной Гинесей на руках далеко не уйдешь. По счастью, на следующий день начальник склада, где работал Соломон, некто Зарайский, сказал Соломону, что ему обещали места в каких-то товарных вагонах. Тут же спонтанно сложилась импровизированная эвакуационная группа в следующем составе: Зарайский с женой и двумя детьми, Соломон с сыном и умирающей Гинесей, Анета и Хава с семьей своих квартирантов Туранских.

Назавтра, 17 августа, весь этот кортеж на подводах тронулся к железнодорожной станции, которая была в нескольких километрах от Клинцов. Со всех сторон уже слышалась близкая стрельба, и через

Клинцы на восток непрерывным потоком шли отступавшие части Красной Армии.

В отличие от своих спутников, заваливших подводы домашним скарбом, дед с отцом взяли с собой только два узла с вещами и лопату, чтобы можно было похоронить Гинесю, если она умрет по дороге.

Когда все они добрались до станции, вагонов еще не было, и Зарайский, не любивший сидеть сложа руки, разгрузил одну подводу и, взяв с собой для помощи моего отца, не поленился смотаться обратно в Клинцы на свой склад и привез оттуда какие-то сукна или что-то еще - в общем, вверенное ему казенное имущество.

Увидев отца с этим ворованным добром, Соломон пришел в неописуемую ярость. Он надавал отцу пощечин и начал несколько театрально декламировать, что не для того растил сына, чтобы тот стал вором и аферистом. При этом перепало и Зарайскому за вовлечение в кражу несовершеннолетних. Зарайский ему ответил: "Соломон, почему ты хочешь, чтобы это досталось немцам, а не нам с тобой? Они (это уже имелись в виду не немцы, а наши) ведь драпают и бросают все!" Соломон сказал: "Ты делай как знаешь, а я и мой сын не можем воровать".

Вагонов ждали до самого вечера, а когда уже стало совсем темнеть, выяснилось, что никаких вагонов, конечно, не будет, да и ехать по железной дороге вообще уже нельзя, потому что немцы ее где-то перерезали. И тотчас вслед за этим сообщением станцию принялись нещадно бомбить и обстреливать из орудий. Началась ужасная паника и суматоха. Света на станции не было (затемнение), и в наступившей темноте все бегали, кричали, вопили, не зная, что делать и как спастись. К счастью, никто из наших не пострадал, но когда бомбежка и обстрел закончились, оказалось, что с подводы непонятно каким образом и неизвестно куда исчезла парализованная Гинеся. Соломон с отцом несколько часов искали ее по всей станции и близлежащим кустам, но в кромешной тьме ни ее, ни ее следов, ни даже ее останков найти не смогли.

Между тем ждать было больше нельзя - последние наши войска уже давно прошли на восток и в любую минуту могли появиться немцы. Соломон плакал, рвал на себе волосы и кричал, что не может уйти, бросив неизвестно где свою мать. Зарайский говорил ему, что, если он останется, он не спасет ни мать, ни себя, ни сына...

В общем, они ушли. И что стало с Гинесей Гензелевой, вдовой двух моих прадедов: Гесл-Лейба Фрейдкина и Гирша Мовшевича Резникова, так никому и неизвестно. Скорей всего, она тогда же и погибла.

Они шли всю ночь, весь день и всю следующую ночь. Спали по очереди на подводах. Как-то выяснилось, что нужно успеть дойти до Новгород-Северского, пока немцы не замкнули там свое очередное кольцо. Успели. От Новгород-Северского шли до Курска в тесной толпе беженцев. Ночевали в стогах или просто в поле. Во время одной из таких ночевок отец случайно увидел, как молодая женщина задушила своего грудного ребенка. Когда проходили через деревни, жители выставляли на обочины хлеб, ведра с картошкой, огурцы. Пастухи угоняли на восток колхозные стада и за бесценок продавали скот на убой.

Когда проходили мимо деревни Федоровка, Соломон внезапно увидел старого Герцула Фрейдкина, сидящего на крыльце одного из домов в окружении своих дочерей. Соломон закрыл лицо руками и даже не остановился. Он не мог им сказать, что оставил свою мать.

До Курска добирались сорок дней. Оттуда уже ходили поезда до Воронежа.

В Воронеже на эвакопункте Соломон совершенно случайно встретил Ейсеф-Залмена Резникова. Он с семьей был здесь очень давно и даже где-то работал. С ними были их дети - Маня с семьей, Зина, вдова репрессированного В.Е. Случака, и еще какие-то родственники. Фронт понемногу подбирался к Воронежу, и оставаться здесь становилось небезопасно. Поэтому по рекомендации Зины было решено "всем кагалом" отправиться в Ленинабад (тогда Ходжент).

Так в конце 1941 года мой отец Иехиель Соломонович Фрейдкин впервые попал в этот город, где прошла его молодость и где двенадцать лет спустя суждено было родиться его старшему сыну, то есть мне. Но рассказ об этом и дальнейшей судьбе отца и его семьи мы отложим пока до другого раза.

1985-1989 гг.

Лидия ОГАНЕСЯН

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

И дерево себя перерастает.
И кроной шелестит под легким ветром.
И обнимают ствол могучий ветви.
И тихий шепот в воздухе витает.
Но с высоты последнего листа
увижу я, что формула проста:
он вырвался и шелеста не слышит,
и устремляется все выше, выше,
и продолжая вновь свое движенье,
приходит с небом в соприкосновенье.

Я говорю про лист - частицу древа,
и ведь неважно, справа или слева
он вырос, чтобы вырваться в простор
голубизны. И в небо бросив взор,
он зов земли почувствует вдвойне.
но, впрочем, говорить о том не мне.

... Он шелеста не слышит, но струится
в нем кровь, и в том магическая связь
меж матерью и сыном, что стремится
поняв, отдать...
                                        И в лоно возвратясь,
мечтает вновь в простор пуститься синий.
Но как ему поверишь ты, в бессилье
взирая снизу? Точка, да и только -
он мал, и в нем ты не увидишь толка.
Но как понять? - спросил ты. И в ответ
я стала веткой, стеблем, корнем, соком
и вознеслась так высоко'-высо'ко,
что на мгновенье увидала свет.

Герман ГЕЦЕВИЧ

ПОЭТ

Н.Е.Штемпель

О чем-то бескорыстно сожалея,
Перечеркнув написанный сонет,
Склоняется над томом Апулея,
В опале находящийся поэт.

И размышленья сопрягая былью,
Заносит он в сожжённую тетрадь,
Сложив свои невидимые крылья,
Как ангел, разучившийся летать.

1984

Ваграм МАРТИРОСЯН

ЖИЗНЬ

... А ночью земля как небо
и сверху видно, что свечи
родившихся загораются
умирающих - гаснут
И каким неровным светом
горят
свечи живущих рядом.

Пер. с армянского Катарины МУРАДЯН

Хорхе Луис БОРХЕС

Я ЕВРЕЙ

Как друзы и луна, как смерть и прошлая неделя, далекое прошлое - из тех вещей, глубина которых измеряется нашим незнанием. Его мягкость и предупредительность не знают границ; оно, в отличие от будущего, всегда готово к услугам, а хлопот сулит куда меньше. Понятно, что прошлое - заповедник любых мифологий.

Кто хотя бы однажды не забавлялся поисками собственных предков, не воображал себе предысторию родных и близких? Я забавлялся этим неоднократно и всякий раз испытывал удовольствие, представляя себя евреем. Речь всего лишь о выдумке, о мысленном приключении тихони и домоседа, которое ведь не задевает никого и меньше других - репутацию Израиля, поскольку мое иудейство, подобно песням Мендельсона, остается музыкой без слов. Тем не менее журнал "Тигель" решил увековечить мою обращенную в прошлое надежду, объявив миру о "коварно скрываемых" мною еврейских корнях (подобное причастие, да еще вкупе с наречием, не могут оставить писателя равнодушным).

Мое полное имя - Борхес Асеведо. В одном из примечаний к главе пятнадцатой своей книги "Росас и его эпоха" Рамос Мехия перечисляет буэнос-айресские семейства того времени, доказывая, что все или почти все они "ведут происхождение от португальских евреев". В списке есть фамилия Асеведо: таков единственный документ в поддержку моих семитофильских притязаний (точнее, он был единственным до торжественного посвящения на страницах "Тигля"). Тем не менее, капитан Онорио Асеведо предался соответствующим разысканиям, о результатах которых мне вряд ли дадут умолчать. Из них следует, что первым из Асеведо на латиноамериканский континент ступил каталонец дон Педро де Асеведо, земледелец, около 1728 года пустивший корни в Паго де лос Аройос, отец и дед скотоводов этого края, почетный гражданин, фигурирующий в анналах одного из приходов Санта-Фе и в документах времен вице-королевства, - то есть предок, увы, из неисправимых испанцев.

Два столетия не смогли придать ему иудейское происхождение, два столетия ничья рука не тревожила его памяти.

Я благодарен журналу "Тигель", подвигнувшему меня на эти розыски, но теперь у меня еще меньше надежд включить в свою родословную Жертвенник всесожжения, Медное море, Генриха Гейне, Глейзера и десять праведников, Екклезиаста и Чарли Чаплина.

Говоря языком статистики, евреи весьма немногочисленны. Что бы мы сказали о человеке, в четырехтысячном году открывшем, что отовсюду окружен выходцами из провинции Сан-Хуан? Наши изобличители упорно ищут чужие корни среди евреев, но никогда - среди финикийцев, нумидийцев, скифов, вавилонян, персов, египтян, гуннов, вандалов, остроготов, эфиопов, иллирийцев, пафлагонцев, сарматов, мидийцев, оттоманцев, берберов, британцев, ливийцев, циклопов и лапифов. Ночи Александрии, Вавилона, Карфагена или Мемфиса никогда не подарят тебе предка: это способность оставлена лишь племенам смолистого Мертвого моря.

Пер. Б. ДУБИНА

Хорхе Луис Борхес. Сочинения в трех томах. Том третий. Издательская фирма "Полярис", 1994.



Элиас КАНЕТТИ

ТОПОР АРМЯНИНА.

Я лишен удовольствия с такой же легкостью, как Стендаль в "Анри Брюларе", предаться утехам топографического черчения, на свое горе я всегда был плохим рисовальщиком. Придется мне поэтому кратко описать расположение наших домов вокруг сада в Рущуке.

Сразу направо от ведущих с улицы больших ворот стоял дом деда Канетти. Выглядел он солиднее и казался выше остальных. Хотя, помнится, верхнего этажа, как другие дома, не имел. Во всяком случае, ступенек к нему наверх вело больше, отчего он и мог произвести впечатление высокого дома. Также он казался и светлее других, наверное был окрашен в более светлые тона.

Напротив от него, налево от ворот, стоял дом, в котором жила старшая сестра моего отца, тетя Софи, со своим мужем Натаном. Звали его еще и Эльяким, это имя мне очень не нравилось, может, потому, что звучало не так, как другие, не по-испански. У них было трое детей: Регина, Жак и Лаурика, последняя - младшая - старше меня на целых четыре года, неимоверная разница в этом возрасте.

Рядом с этим домом, по ту же левую сторону от ворот, стоял наш дом, точно такой же, как и дядин. Оба дома во всю ширину фасада обрамляла платформа, на которую взбегало несколько ступенек.

Двор между домами походил на большой сад, напротив нас чуть в стороне от центра стоял колодец, но воды в нем не хватало, ее обычно привозили на мулах в огромных бочках. Дунайскую воду перед использованием кипятили, и она остывала в больших чанах на платформе перед домом.

За колодцем раскинулся фруктовый сад, отгороженный от двора плетнем. Этот сад особенной красотой не отличался, может из-за того, что деревья росли в нем словно по линейке, а может, и из-за своей молодости. У родственников матери сады были куда лучше.

Во двор наш дом выходил узким фасадом. Сильно вытянутый в длину, он, наверное, и запомнился поэтому очень большим, хотя был одноэтажным.

Пройдя вдоль всего дома вглубь, до его противоположного конца, и обогнув угол, можно было попасть в маленький задний дворик, в который выходили двери кухни. Здесь хранились дрова для растопки, расхаживали куры и гуси, из открытых дверей кухни доносились голоса, гремели посудой, входила и выходила кухарка, неся что-нибудь в руках, деловито сновали с полдюжины девочек.

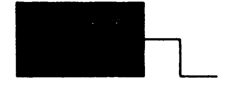
В этом дворе у кухни часто рубил дрова один слуга, которого я помню лучше других, потому что он был моим другом, печальный армянин. За рубкой дров он пел песни, слов которых я не понимал, но они разрывали мне сердце. На мой вопрос, почему он такой грустный, мать сказала, что плохие люди в Стамбуле хотели убить всех армян, тогда он и потерял всю свою семью. Укрывшись в убежище, он видел, как убивали его сестру. Потом он убежал в Болгарию, и мой отец из жалости приютил его у нас в доме. Когда он колет дрова, он все время думает о своей младшей сестре и поэтому поет такие печальные песни.

Я испытывал к нему глубокую любовь. Увидев, что он собирается колоть дрова, я забирался на диван в дальнем углу гостиной, и, высунувшись из выходящего во двор кухни окна, смотрел на него, слушал печальные песни, думал о его сестре и очень хотел иметь младшую сестру. У него были черные усы и черные как смоль волосы,

он казался мне очень высоким, наверно оттого, что я видел его всегда с высоко поднятыми руками, сжимающими топор. Я любил его даже сильнее Челебона, слуги из лавки, с которым встречался редко. Мы сказали друг другу всего пару слов, и те не знаю, на каком языке. Но без меня он рубки дров не начинал. Завидев мою голову в окне, он еле приметно улыбался, взмахивал топором, и страшно было смотреть, с каким гневом сокрушал им дрова. При этом он мрачнел и пел свои печальные песни. Отложив топор, он снова улыбался мне и я ждал эту улыбку, как и он, первый в моей жизни беженец, поджидал до этого меня.

Пер. с немецкого Г. ТУРАЛИНОЙ

Из книги "Спасенный язык" - Э. Канетти. Человек нашего столетия. М."Прогресс", 1990



Мераб МАМАРДАШВИЛИ

ЛЕКЦИЯ 17

Прошлый раз я приводил одну цитату из Евангелия и должен вам сказать, что, посмотрев несколько разноязычных переводов этого высказывания, я, для себя во всяком случае, установил, что грузинский вариант наиболее точный: "и наступает время, и это сейчас". Он динамику лучше всего передает, т.е. наступит время и оно сейчас. Я говорил вам, что это время конца истории в особом отвлеченном смысле этого слова. Не в том смысле слова, что история кончается, - вот та, которая течет, - а в том смысле, что мы кончаем историю, т.е. не тянем за собой куски непережеванного опыта, а, наоборот, извлекаем из него то, что он нам говорил, и что на самом деле происходило, и кем мы были. Вот что такое конец истории. А высказывание из Евангелия говорит, что это точка конца истории, она вертикальна по всем точкам времени, т.е. нет особого, назначенного внутри нашего потока времени, нет особой назначенной точки, скажем, через столетия или еще когда-то, когда это могло бы наступать. Значит, структура времени действительно происходящего, она построена иначе, мы должны все время воображать себе какую-то вертикаль, секущую точки,для нас расположенные в горизонтали, т.е. в последовательности временного потока. Вернемся ближе к нашим делам. Фактически то, что я говорил о мышлении как чем-то таком, что есть элемент "созданного, чтобы испытать", тем самым я говорил о том, что это "созданное, чтобы испытать" - содержащее мысль, - оно содержит или представляет собой все целиком, некоторые свободные, автономные создания, свободные изобретения, которые ниоткуда, никоим образом никак причинно не выводимы. Я уже делал вам намек, что мы не можем причинно проследить, как возникло само это вот другое, чем мы себе представляли, т.е. реальность, как возникло то, что мы вспоминаем, или то, что мы оживили, или воскресили, вот само это мы уже не можем проследить. Это происходит в некоторых свободных, автономных созданиях. И не имеет смысла их обосновывать, искать причину их появления и т.д. Тем самым все то, что я говорил и сейчас немножко повторил, говорит о следующем: существует какая-то естественная и более крупная, единичность нашей мысли, т.е. единицы нашего мышления, не такие, как мы себе их представляем (а мы их, мышление делим всегда условно и произвольно), а какие-то иные. Во-первых, есть

некая естественная дискретность, т.е. выделенность какой-то единицы, и, во-вторых, это единица крупнее, чем эмпирический акт нашей мысли, чем наши эмпирические, реальные состояния, в которых мы переживаем акты мышления. Какой-то намек на эту более крупную единичность мы видели уже в терминах пространства и времени, которые у нас фигурировали.

Я уже говорил Вам, что хронологическое время может быть 80-90 лет, а время истинное или время естественное, выразимся так, - вот эта единица, которую мы ищем, - оно сжато в точку. Скажем, по смыслу и структуре наших некоторых состояний, мы по времени находимся где-то около 1937 года. Беря шире, я могу сказать вам так, что вообще проблемы XX века, которые требуют от нас возвращения в каждый момент, возвращения к какому-то существу мышления, к какому-то возобновлению акта мысли - эти проблемы, тем самым, как бы интуитивно являются для нас современными, в одном простом смысле слова, - сейчас я дам интуитивное определение, что такое современное в отличие от традиционного, классического и т.д. Современное - это то, что мы не можем понять, не совершив над собой некоторого усилия перестройки самих себя. Простая вещь, например, если вы без перестройки своего глаза можете воспринимать живопись эпохи Возрождения, она уже не требует от вас перестройки, а чтобы увидеть картину Сезанна, вы должны над собой что-то совершить, и вот это ощущение есть ощущение современности или проблемности. Так вот, если взять этот критерий, то окажется, что современные социальные проблемы, проблемы современной цивилизации, демократии, тоталитарных государств, проблемы кризиса культуры - все они, странным образом, есть те же проблемы, которые находятся на рубеже или в точке 1913 года, т.е. к началу первой мировой войны. И мы в действительности живем внутри какой-то крупной единицы, одной единицы, которая охватывает собой очень большое время, мы живем внутри тех проблем, симптомом которых явилась сама первая мировая война; второй волной и таким же симптомом, явилась вторая мировая война и т.д.

А что касается культуры, то я могу, просто проведя ось, размещать вокруг нее точки современных вещей по интуитивному критерию, который я сейчас ввел. Скажем, точка "генетика" в биологии - это, безусловно, современная проблема, "квантовая механика" - элемент современного мышления, в смысле интуитивного критерия, который я вводил, "теория относительности", живопись Пикассо, или в музыке - все что последовало после "венской" школы и т.д. Я взял бы какую-то кучу точек, и вся она странным образом расположилась бы вокруг

временной оси 1895-1913 год. 13-й год - условно, потому что нормальное развитие было прервано четырьмя годами войны, и поэтому к этим точкам можно плюсовать и 18, 19, 20 год, это будет та же самая временная зона или временная точка. Значит, даже внешние изменения нашего мышления - т.е. о чем мы мыслим, - они более крупномасштабны. Если мы мыслим о том, что с нами происходит, о тех проблемах, которые мы считаем современными, то мы должны мыслить в масштабах целой этой эпохи, которую я выделял, пользуясь интуитивным критерием "что для нас современно". Пока я помечаю этот пункт, сейчас я пока его оставлю, потому что мне к нему прямо не пройти, нужно сделать несколько заходов, чтобы этот пункт растащить по более понятным кускам, чтобы была у нас какая-то мозаика, из которой предстала нам более или менее ясная картина. За полную ясность я не ручаюсь, ее не существует просто-напросто, а тем более в философии. Мы можем ставить вопросы и установить образ мысли - как об этих вопросах думать, но не давать ответа.

Так вот, зададимся вопросом, вытекающим из предшествующей нашей беседы: вот, что же происходит собственно тогда, когда мы понимаем, мыслим тем или в том, что невозможно себе представить, невозможно себе вообразить, что не может быть ничьим реальным психологическим состоянием и что содержит в себе некоторые искусственные образования, т.е. искусство в широком смысле слова ? Мысль является искусством в широком смысле слова или "техносом" и что является, я бы сказал, текстом сознания, вот какой-то организованный текст, который способен что-то порождать. Во-первых, явно он сам рождается в акте чтения текста, т.е. когда мы совершаем акт "я мыслю, я существую", и, во-вторых, что-то рождает именно он, а не натуральная или природная последовательность явлений. Скажем, в натуральной, природной последовательности явлений мне стало бы скучно с любимой, а если любовь оказалась частью текста сознания, то текст сознания способен воспроизводить и оживлять причины любить, независимо от усталости или утомляемости моих нервно-физиологических способностей и порогов, порогов чувствительности. Чувствительность притупляется - как вы знаете, - это натуральный закон, а мы каким-то образом иногда выскакиваем из этих натуральных законов. Так что же происходит?

Ведь все эти вещи - а я их назвал автономные, свободные создания, - они вплетены в сам процесс нашей жизни, т.е. наша жизнь одновременно пересечена с другой реальной жизнью, в которой живут какие-то живые духовные организмы, с которыми мы сращены и которые в нас и в нашей жизни что-то производят. На натуральном

склоне нашей жизни, на натуральном склоне холма нашей жизни - там ведь то, что я называл "патология". Я уже объяснял этот термин. Например, нам кажется, что мысль произведена предметом, хотя мы ведь теперь поняли, что натурально мысль неизвлекаема из предмета, но когда она произведена, нам кажется, что она произведена предметом, и мы думаем так, как если бы она была произведена предметом. Мы саму собственную мысль, родившуюся иначе, осмысляем через причинение ее свойствами предмета.

Или, например, нам кажется на натуральном этом склоне, что всему хорошему в нас предшествует хороший предмет или хорошее причинение, хотя мы знаем частично уже, что вовсе не из опыта мы узнаем, что такое мораль, вовсе не из опыта мы узнаем, что такое добро. Повторяю свой вопрос - что же происходит? А происходит то, что по отношению к этой патологии, я сейчас патологию эту назову "неминуемым склонением". Вот у нас уже есть мысль, и одновременно - неминуемое склонение, что предмет породил эту мысль. У нас есть уже непосредственное чувство добра, и у нас неминуемое склонение, что для того, чтобы это добро было во мне, нужно, чтобы добро было вовне и чтобы оно вызывало во мне добро. Назовем это склонением.

Так что происходит? Если совершается акт мысли, то он дает как бы прямую, он исправляет склонение. В каждый данный момент происходит неминуемое, из природы вытекающее склонение, и оно изменяется, мысль и есть изменение склонения, т.е. наше сознание или наше свободное моральное сознание - а всякое сознание есть моральное сознание в смысле мотивированности человека идеалами, противостоящими любым силам природы и не вытекающими из сил природы. Значит, мышление есть изменение склонения. т.е. мышление, фактически говоря, есть прежде всего последовательность или последовательный образ мысли. Сказать это, это то же самое, что сказать - мышление идеально, - что и есть - мыслить. Я приведу образец, во-первых, последовательного мышления, во-вторых, это будет непосредственно связано с нашими гражданскими переживаниями, и, в-третьих, в нем будет просвечиваться структура, которая позволит мне снова вернуться к тому участию, вот к этой крупной единичности, т.е. к участию свободных, автономных созданий в нашей реальной жизни и крупной единичности уже нашей мысли, где можно увидеть что-то похожее на предвидение, на предсказание (в силу крупной единичности). Т.е. некоторые состояния, например, 1913 года, можно рассматривать как предсказания того, что в реальности это - в одной точке, а это нам кажется в хронологическом времени, что одно - в 1913 году, а другое в 1987 году. Я же говорил вам, что мышление есть

выпадение из окружающей жизни. Когда мы выпадаем из кажущейся жизни, жизнь не перестает нам казаться, т.е. мы можем выпасть, но все равно нам 1913 год будет казаться 1913-м, а 1987 год - 1987-м. В качестве образца последовательного мышления, акта мысли, совершенного человеком, причем по социально-этическим проблемам, близким нам, я приведу рассуждение одного любимого мной философа - Канта.

Я цитирую 4 том, часть 1, стр. 482-484. Параграф называется так - в старину очень так плавно мыслили и плавно писали, были большие заголовки, длинные подзаголовки, скажем, заголовок этой главки маленькой - она всего из двух страниц состоит, - такой: "О мудром, соразмерном с практическим назначением человека соотношении его познавательных способностей". Я, чтобы пластично понимался этот акт мысли, совершенный Кантом на этих страницах, я сначала сделаю такую оговорку, что речь идет о том, что у человека есть то, чего природа ему не дала. Это - мысль или, что то же самое, - моральное сознание, в том смысле, в котором я сказал. Всякое сознание есть в то же время моральное сознание, не в смысле этики, а в смысле некоторой мотивации или ориентации человека, которая является идеальной ориентацией противостоящей природным силам или отличная от них, или выше вообще любых природных сил. Нахождение человека в этом состоянии и есть сознание, а сознание моральное есть подвид или частный случай такого сознания. Не случайно в романских языках слово, обозначающее сознание, совпадает со словом, обозначающим мораль. Скажем, французы говорят "conscience", имея ввиду и сознание, и мораль, иногда добавляют "conscience moral", то же самое в английском языке. Но это означает, по мысли Канта, что она с нами поступила как мачеха, потому что, дав нам моральное сознание, она одновременно лишила нас возможности иметь его доказанным, т.е. познанным и доказанным. Посредством морального сознания мы являемся агентами истории, но в моральном сознании или вообще в сознании, мы не можем знать законы истории и действовать согласно знанию, доказанному знанию законов истории. Сейчас вы поймете, к чему я это все говорю.

Значит, что здесь имеется в виду. Вот представьте себе, что закон истории есть внешний предмет. Я познал закон истории доказанным образом, т.е. аподиктическим образом или очевидным образом. Я основываю свое поведение на нем. Это означало предшествование предмета моему моральному состоянию, т.е. предмет причинял бы, а с точки зрения Канта это - патология, всякая предметная причина есть патология. Что делает Кант, чтобы провести свою мысль? Он говорит

так: "но допустим, что природа снизошла до нашего желания (а мы желаем знать и на основе знания действовать - М.М.) и наделила нас той способностью проницательности или просветленности, которой нам хотелось бы обладать, или которой мы действительно, как воображают некоторые (скажем, марксистская традиция воображает это, есть научная теория коммунизма и научная теория социализма, где законы истории познаны - М.М.) ... каково же было бы по всей вероятности следствие этого?" - спрашивает Кант. Допустим, что это так. Каково же было следствие этого? И вот дальше идет совершенно гениальное осуществление мышления как последовательного мышления, как движение по прямой - и тогда ты видишь, чего никогда не увидел бы, если бы не обладал бы последовательностью мысли, т.е. способностью не сходить с прямой вопреки фактам. Кант отвечает на это так: "Каково было бы следствие, что мы основали свою жизнь на доказанных законах? Если бы не изменилась бы и вся наша природа, то склонности (а ведь за ними всегда первое слово) сначала потребовали бы своего удовлетворения и в соединении с разумным размышлением потребовали бы максимального и продолжительного удовлетворения под именем счастья". Подставляете, скажем, багаж вашего обществоведения, общественных знаний, вот мы познали, в чем состоит общественный интерес, на нем основываем свое разумное рассуждение или размышление и на основе ее стремимся к максимальному и продолжительному удовлетворению своей склонности, к удовлетворению ее под именем "счастье" или "всеобщее счастье", "всеобщее благо". "Моральный закон, - говорит Кант, - заговорил бы потом". Моральный закон - он пуст, он не содержит в себе никакого содержания, он есть лишь то содержание, которое само породило то состояние, которое нами осознается, - я это объяснял в прошлый раз. Т.е. как возможен в нас акт стремления к добру? Есть некая сила, действующая внутри нас и порождающая акт, который мы же и осознаем. И это выше любой природы, и в том числе природы человека. Вот это - моральный закон.

"Моральный закон заговорил бы потом, чтобы держать их (т.е. склонности) в подобающих рамках и даже подчинить их всех более высокой цели, не считающейся ни с какой склонностью (например, подчинить их государственному интересу, общественному интересу, интересу построения будущего общества и т.д. - это высшие интересы). Но вместо спора, который моральному убеждению приходится вести со склонностями и в котором, после нескольких поражений, должна быть постепенно приобретена моральная сила души, у нас перед глазами, - Кант подчеркивает,- постоянно стояли бы Бог и Вечность в их грозном

величии (замените слова Бог и Вечность на слова: закон неумолимого хода истории, объективного хода прогресса, колесо истории - это то же самое), которые оборачивались бы к нам своей наказующей и грозной стороной и поэтому требовали бы от нас подчинения или, сознавая их грозность, мы соразмеряли бы себя с этими законами и возможными наказаниями, которые воспоследовали бы из их нарушения". В скобках Кант замечает: "Ведь то, что мы можем доказать полностью, имеет для нас такую же степень достоверности, как и то, в чем убеждаемся мы своими глазами." "Нарушения закона, конечно, не было бы,- пишет Кант, - и то, чего требует заповедь, было бы исполнено, но т.к. *убеждение*", - слово *убеждение* Кант подчеркивает, - "на основе которого должно совершать поступки, не может быть внушено никакой заповедью", - т.е. моральный закон не может быть внушен никакой заповедью, он или есть в тебе или его нет - "а побуждение к деятельности здесь всегда под рукой, и оно внешнее - следовательно, разум не должен пробивать себе дорогу, собирая силы для противодействия склонностям с помощью живого представления о достоинстве закона, - то большинство законосообразных поступков было бы совершено из страха, лишь немногие в надежде, и ни один из чувства долга, а моральная ценность поступков, к чему единственно сводится вся ценность личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости, вообще перестала бы существовать. Таким образом, пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, поведение их превратилось бы просто в механизм, где, как в кукольном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах нет жизни",- т.е. возник бы мир, который Кант называет миром духовных автоматов. Вот что значит мыслить, перед вами акт мышления.

Кстати, я должен сказать вам, что этот акт мышления, конечно, венчает собой тончайший и глубочайший, и богатейший мыслительный мир, который возникал внутри европейской культуры на волне религиозных войн, реформации, контрреформации, ереси, мистицизма, схоластики, религиозных дискуссий и т.д. Здесь, например, содержится в простых словах, весь тот велосипед, который для себя русские заново открывали в XIX веке. Весь Достоевский - "Великий Инквизитор", который держит страхом и авторитетом, все описание вот того мира, которым мучился Достоевский, все эти, как принято называть у литераторов, романы идей, борьбы идей, где героями являются идеи которые сталкиваются в фантастических битвах, режут друг друга, кричат друг на друга, все время находятся в состоянии духовной истерики - все сказано, все это уже есть. Просто достоинство Достоевского в том, что он хотя бы в XIX веке открыл для российской

культуры этот велосипед - кто-то должен был, конечно открыть, - но приводить в какую-то великую систему мысли Достоевского, который лично проходил путь и в этом его достоинство, приводить это в систему мысли - совершенная нелепость.

Есть в этой цитате слова "живое представление", которое возможно только тогда, когда разум или моральная сила души приобретается тобой самим в борьбе со склонностями, т.е. когда совершается акт мысли, который есть изменение склонения. Тогда тот мир, который возникает, есть мир, состоящий из одушевленных людей, а не автоматов.

Лишь одна есть хитрая посылка у Канта, она звучит невинно, потому что для Канта само собой разумелось, что природа человека есть природа человека, т.е. она не трансформируется, не меняется. Человек возвышается над собой - и это есть история человеческая, - но не меняется природа человека. "Таким образом, - пишет он, - пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, их поведение превратилось бы в простой механизм". Чтобы не видеть того, что совершилось здесь, т.е. этого акта мысли, нужна очень простая вещь, нужно допущение, что меняется природа человека и что создается новый человек, тогда все логично, тогда логично строить общество на доказанном ему знании хода истории, на обоснованных законах истории, тогда логично вполне развивать не имеющий никаких прорех логический мир духовных автоматов, в котором все правильно, все жестикулируют правильно, но нет жизни. Норма, конечно, соблюдается, т.е. закон высший, но, поскольку он есть доказанный закон, т.е. предмет в мире, действующий на наши ощущения и восприятия, то - или страхом держимся, или актерствуем страхом перед нарушением, или, чтобы мысль не могла разрушить, это здание автоматизма, мы строим идеологию. А вот то, что я сказал об изменении природы человека, и есть идеологический шаг, т.е. - что такое идеология?- мысль всегда имеет свой идеологический дубль, мысль возникает, есть свободное автономное создание, и потому я вдруг вижу предмет таким, но я то считаю, что у меня такая мысль, потому что предмет такой - вот это есть идеологический дубль мысли. Если это так, если мы имеем мысль, потому что предметы могут быть такие, что вызывают такие мысли или моральные побуждения и состояния, тогда нужно действовать на человека предметами, ну, скажем, создать хорошую среду, чтобы произвести хороших людей.

Я мог бы вам даже ввести такую антиномию между классической душой, т.е. классической душой мыслителя и революционером, различие простое. Классическая душа - она способна вынести мысль, что ты

должён быть и можешь быть добрым *один*, просто в силу свойств самого добра. Революционер - это человек, который не может вынести мысль, вынести, что нужно быть, можно быть или оказаться одному добрым, ему нужно, чтобы все были хорошими, и тогда имеет смысл быть хорошим. А это - выход из сферы морали. В сфере морали вообще нет связки "для того, чтобы...", в смысле "имело бы смысл, чтобы...", т.е. в морали нет наград, нет поощрений, нет подкармливания условных рефлексов, как у собачек Павлова. Правда, это подкармливание всегда имеет оборотную свою сторону, поскольку мы - живые существа, и хотя мир духовных автоматов может возникнуть, и он возник, но мы-то живые, и жизнь убить невозможно, и где-то это сказывается. То, что это сказывается, хорошо иллюстрируется известным анекдотом о павловских собачках: две павловские собачки беседуют одна с другой, и одна говорит другой:

- Ты знаешь, условные рефлексы все-таки существуют.

Вторая спрашивает:

- Почему ты так думаешь?

- А вот смотри, сейчас раздастся звонок - и этот кретин в белом халате принесет нам еду.

Так что есть оборотная сторона у всего этого дела.

Теперь смотрите, что здесь еще просвечивает. Акт мысли, совершенный наглядно, виден - как философ может думать. Вот, пожалуйста, поставил вам мыслительный эксперимент, мыслил последовательно свою мысль и действительно увидел, что есть на самом деле, и более того, как бы даже и предсказал, что будет. Настолько предсказал, что здесь даже содержится эпизод "Великого Инквизитора", например. Как бы о нас написано, частично потому что исходная мысль Канта и первый основной мотив его творчества был вообще - построить мысленный мир такой, который был бы противоположен или мог бы противостоять фанатизму знания.

Он предупреждал, что если мы попробуем знанием заменить то, что не может быть предметом знания, а должно быть предметом убеждения, то из этого вытечет, как говорил он, величайший фанатизм, т.е. фанатизм идей. Не фанатизм веры, а фанатизм идей - вот один из внутренних оппонентов или противников, с которыми соотносился Кант, строя свое размышление и свою философию.

Вернемся к тому, что я назвал более крупной единичностью. Понимаете - мыслью, или искусством, или произведением мысли, или произведением искусства может быть любой человеческий артефакт, связанный с высвобождением в человеке каких-то сил, которые природа в нем не могла бы развить, и поэтому простой, мудрый крестьянский

ритуал, отношение к земле, завещанный культурой, может быть равен великому произведению искусства или великому произведению мысли. Я подчеркиваю, что здесь не существует выделенной иерархии, если мы что-то способны думать, извлекать и поступать в качестве людей, то самые простые вещи могут быть механизмами или машинами, способными произвести такой поступок. Поэтому не нужно смотреть высокомерно на простейший ход жизни, в простейший ход жизни включены эти свободные, автономные создания, которые способны в нас что-то производить, что-то противоречащее природным склонностям, противоречащее внешним воздействиям, противоречащее принуждениям, противоречащее деспотизму и т.д. Т.е. все, где мы можем стоять и идти по прямой - простейшие вещи могут быть таким основанием. Значит, они нас сопровождают во всем, что с нами может случиться. То, что с нами происходит, или то, что мы делаем сами, это происходит с теми существами, у которых есть то, что я называю пристройками, или свободные, автономные устройства в их сознании и голове. Они сопровождают любые его поступки, любые его деяния и события, которые могут с нами происходить, т.е. я хочу сказать, что события случаются с некоторым предварительным пониманием их самих и со способностью агента этих событий на эти события. Вот на что мы способны, то с нами и произойдет.

Я прошу вас считаться с трудностями, которые передо мной стоят. Трудность - не то, что мне трудно вам что-нибудь объяснить. Мне просто трудно думать о том, о чем я думаю. Это почти что превышает человеческие силы, мы можем лишь пытаться, поэтому никакой особой мудрости во мне нет, которую вы не поняли бы, и я жаловался бы на вас, что вы не понимаете - это во-первых. Во-вторых, ясно из того, что я говорю, что воспринять что-то требует терпения, которое есть единственное. Хочешь что-то сказать, у тебя готовое возражение - допусти, что твое готовое возражение или неприятие того, что говорится, есть склонение, то, что я назвал склонением. Опасайся прежде всего того, что в тебе уже есть, и дай пройти времени, и значит, в это время помолчи, дай этому покрутиться, повариться, потому что без варения, медленного варения - ничего не бывает. Да и мир так устроен, что он только варится, а не готов.

Вернусь к крупной единичности, о которой я говорил, т.е. попытаюсь это пояснить. Попытаюсь пояснить сначала с такой стороны. Я говорил, что элементы того, что создано для того, чтобы мы испытали что-то, эти элементы являются свободными, автономными созданиями. Мы их должны допустить, принять как факт, они есть или нет. Если они есть, то тогда у нас есть определенные чувства, определенные

способности, определенная возможность мысли и жизни. Допустимы, возможны другие автономные, свободные создания. Т.е. тогда - если у нас нет этих пристроек, - это означает, что у нас не будет определенных чувств, не будет определенных способностей, не будет возможности определенных мыслей. Или, если - другие, эти вот свободные, автономные создания - значит, - будут другие возможные мысли, другие возможные чувства и другие способности, и возникнет проблема коммуникации между мирами - это будет другой мир. У этих миров есть особое свойство какой-то неделимости, которая и есть эта дискретность или крупная единичность. Мы не можем никаким их анализом дойти до такой точки, где за ними бы стояло нечто иное, чем они сами - т.е. какой-то предмет, - и что обусловило бы их, и из чего мы могли бы вывести их. Иными словами, такого рода образования представляют собой некоторые духовные организмы, которые даже в малейших своих частях до бесконечности продолжают быть организованным духовным организмом, и даже малейшая часть тоже является организмом, а не составлена из элементов, которые были бы мертвыми или натуральными элементами, механическими элементами, из которых мы получили бы вот эту живую или духовную часть и потом сложили бы организм. Т.е. малые части организма являются в свою очередь организмами, и мы не можем получить такую часть, которая им не являлась бы. Вот это я называю неделимостью.

У Лейбница была метафора, которая поясняет эту ситуацию - я, кажется, приводил ее на одной из бесед, - ситуацию между различными организмами. Я сказал, что организм мы не можем подразделить до такой части, которая уже сама была бы составлена из натуральных элементов - каждая мельчайшая часть в свою очередь до бесконечности является духовной или организмом. Разные организмы, следовательно, должны были бы как-то коммуницировать друг с другом. Мы как бы, чтобы понять другое, должны в целый мир войти, а не просто понять отдельные слова, отдельный знак - мы должны понять внутреннее органическое сцепление.

Я однажды приводил вам пример театра, что если бы человек, не имеющий понятие театра, наблюдал бы театр, он, зная все слова, соотнося все значения слов, расшифровывая их соотнесения с какими-то конкретными предметными ситуациями, понимая все куски происходящего, никогда не понял бы, что это - театр. Т.е. чтобы понять, что это - театр, нужно уже иметь понятие театра или - я переверну - быть рожденным театром. Тем самым я говорю так, что мы понимаем те образования мысли, в лоне которых мы рождены сами или вместе с которыми, в единстве с которыми мы родились. Т.е. мы понимаем такие

законы, которые рождают и нас самих, или с которыми рождаемся и мы.

Так вот, у Лейбница была такая метафора. Он говорит, что если бы представить себе какое-то образование, состоящее из частей и производящее какой-то духовный продукт, представить его большим - это возможно, - и представить себе, что человеку возможно войти внутрь его, как можно войти в мастерскую, и если бы человек вошел внутрь этого образования, он увидел бы все эти вращающиеся части, сцепление одного с другими и никогда не узнал бы, что это - машина мышления или машина духа. Вот - то же самое, что я сказал вам о театре. Позже эта дилемма, о которой я говорю и которую обозначил словом "дискретность" - т.е. какая-то единица, каждая часть которой есть она же, - это повторилось и в XX веке. Я приведу вам фразу из трактата Витгенштейна, где наша проблема звучит так, что если мы возьмем поле предметов, видимых глазом, то, разглядывая эти предметы, мы никогда не выведем из них и никогда не поймем по ним, что их видит именно глаз. Т.е. сами видимые предметы не содержат ничего такого, что говорило бы о том, что их видит глаз, так же как видимые части, спектакль театральный, ни одна из них не говорит, что происходит театр, если у тебя нет понятия театра.

Так вот, следовательно, я предполагаю некоторую длительность, отличающуюся от психологической длительности нашей жизни и от натуральной длительности, - длительность, происходящую внутри такого рода единиц, абсолютные размеры которых не важны. Я сказал - "крупные единичности" - это не значит, что это - абсолютно большие. Они могут быть малыми, но внутри есть вот эта длительность. Я приведу вам такой пример, когда такого рода единицы, содержат сцепление, которое называется смыслом, т.е. понять, что перед тобой театр - это понять смысл, т.е. единицы театрального представления, все его элементы соединены в театр, в театральность смыслом. Смысл обладает странным свойством, что тотальность смысла или весь смысл дается разом и целиком. С другой стороны, никакой смысл не выполним в пространстве и времени, в реальном пространстве и времени, т.е. в реальной истории, общей истории или биографической истории, все события не имеют начала, смысл их по ходу их дела неясен и не имеет концов. Все кружится в этом потоке, - повторяю, - не имея начал, концов, и смысл все время только лишь вырабатывается, т.е. момент свершения событий непрозрачен по своему смыслу. Они должны еще пройти какой-то путь, чтобы смысл их установился, а реального пространства и времени недостаточно ни для какого установления смысла, поэтому и существует измерение сознания и понимания, в

котором даются завершенные образы бытия с помощью того, что я называл вам продуктивным воображением. Т.е. наша реальная жизнь и наша реальная история имеет измерение смысла и понимания, и событие происходит одновременно и в измерении смысла и понимания, в некотором завершенном плане бытия, но завершенном с добавками или восполнениями, идущими от воображения, но не завершенными никогда в реальном пространстве и времени. В реальном пространстве и времени эти единицы или, назовем их условно, общей сущностью, - они должны быть даны всегда разорванно, в разных местах и последовательности.

Снова напомню вам пример, который я приводил с пересечением круга плоскости нашего взгляда. Одно событие, одна сущность - круг - дана в разных местах и последовательности. Так мы воспринимаем, так мы видим. Следовательно, теперь я хочу вам дать понять, что акты мышления есть обратная вещь, акт мышления есть способность или акт увидеть **это**, т.е. увидеть не разные места и последовательность, а увидеть одно событие или общую сущность, или некоторое длящееся событие.

Я приведу такой пример, и это поместит для нас акт выполнения мысли в самv жизнь и одновременно будет ответом на вопрос, который мне задали в прошлый раз, когда я говорил, что Сван ничего не извлек из любви своей к Одетт. "Что в лучшем случае он мог бы извлечь?" - спрашивает меня кто-то. Приведем такой пример, держите в голове этот образ, наглядно иллюстрирующий, что нечто происходящее - в действительности крупно единичное - оно проглядывает для нас разорвано во времени и пространстве, т.е. в разных местах пространства и в последовательности, т.е. сейчас и потом, хотя случается совершенно иначе, или уже случилось в некотором завершенном плане бытия. Я приведу вам последовательность примеров, последовательность романической биографии, биографии Пруста, т.е. романа "В поисках утраченного времени", где вы поймете, как, с одной стороны, сама жизнь есть разворачивание, реализация некоторых символов, а акт мысли и становление человека есть расшифровка, т.е. способность связать разные вещи в один символ и извлечь опыт, чему-то научиться или изменить - что одно и то же, - самого себя. В одной из частей романа есть такой эпизод. Герой наш, Марсель, сам же рассказчик своей юности, мальчиком играет в саду на Елисейских полях, куда его водила нянька играть с другими детьми. Играя там, он оказывается около уборной и ощущает какой-то сырой запах, который почему-то завораживает его и странным образом на него действует, и остается как какое-то воспоминание какого-то загадочного впечатления.

Он подходит ближе, беседует с дамой, которая обслуживает эту уборную. В действительности это просто запах мочи, конечно, но у Пруста стиль не нажимный, поэтому он просто говорит о запахе сырости, влажности, но описывается эта сцена, как описывалась бы какое-то знамение, вот как будто тебе подан какой-то странный знак, который ты должен понять. В данном случае это просто запах сырости. Дальше происходит - держите в голове этот рисунок, - через некоторое время, через несколько лет - автор не уточняет, - он навещает своего дядю по материнской линии, который славился тем, что он был бонвиван, гурман, и известен был своими любовными увлечениями. Мальчик пришел к нему в гости, навестить его, и в комнате, в которую он вошел, было что-то обволакивающее его так же, как запах этой сырости, и промелькнула уходящая от его дяди гостья в розовом платье, и с тех пор это впечатление для мальчика сохранилось в памяти под названием "комната дамы в розовом". То же явление чего-то значительного для его жизни, опять завораживающее впечатление. Кстати, чтобы постепенно и вы могли расшифровывать, эта дама в розовом, которую мальчик увидел, и которая (почему-то вид и запах в этой комнате ассоциировались с запахами уборной на Елисейских полях) в действительности и была Одетт, в последующем любовница Свана, и тем самым героиня последующего движения, некоторого события жизни нашего автора, а именно происходившая на его глазах любовь Свана к Одетт. Эта женщина оказывается Одетт и впечатление "комнаты дамы в розовом" - она была одета в розовое платье, - продолжается впечатлениями роковыми и основополагающими для нашего героя, впечатления любви или взаимоотношений Свана и Одетт. Они оказались для него архетипическими для его собственной любви. Он по колеям или по рельсам, проложенным Сваном, испытывал и проживал свою собственную любовь уже к Альбертине, уже взрослую любовь. А в любви к Альбертине есть все время еще одно впечатление, впечатление поцелуя Альбертины, от которого он потом засыпает на ночь, который является заменой поцелуя матери, без которого он еще совсем в раннем возрасте страдал, если не получал этого поцелуя. Нервный мальчик не мог заснуть, если мама не подымалась и не целовала его на ночь. Все эти вещи с символом или расшифровкой символа, или превратившись в символ и будучи расшифрованы, превратились в одно простое событие, простое состояние души человека, длительно проглядывающее, во-первых, в разных местах пространства и в разные времена. А какое событие? Единственно доступная для него форма любви - это обволакиваться как в некотором влажном материнском лоне, т.е. запах уборной был запах возможной

для данного человека, ему предназначенной формой любви. Эта возможность снова разыгрывается, снова говорит о себе, когда он случайно, в доме у дяди увидит пропорхнувшую мимо него даму в розовом, она запомнится ему, почему-то сочетавшись с этим запахом влажности, именно по тому же, и не случайно, она окажется Одетт, любовницей Свана, которую Сван ревновал и в которой, очевидно, так же нуждался, как Марсель - герой наш - нуждался, чтобы поцеловала его мать на прощание, т.е. он нуждался только в таком мире, из которого наружу не надо было бы выходить, который все время тебя нежно обволакивал. Вот что с ним происходило на самом деле, но он смог мыслить, т.е. в данном случае построить описание и понять, что он такой, овладеть собой и остановить в себе это. Т.е. весь роман есть - я бы сказал так, - прощание путем письма, избавление себя от материнского комплекса, т.е. от комплекса любви, которая отождествляется с материнским лоном. Такая любовь несет только муки ревности и зависимости, такая любовь всегда бывает несчастной, всегда разрывает сердце, и, главное, она не может быть самостоятельным источником радости любви как общения с другим человеком и восполнения себя им. Т.е. когда Пруст - а сейчас уже речь идет о Прусте, - пишет, то это означает, что он овладевает в себе тем, что в нем производит вот эти события, то, что он назвал бы "le sens commun", т.е. общая сущность - она производит в нем эти события. Вздрогнул ли ты у уборной на Елисейских полях, или ошалел ли ты от шелеста платья женщины в розовом, которая промелькнула мимо тебя, или подавила тебя любовь Свана к Одетт как архетипический путь, который ты должен, вынужден проходить, или ты ждешь поцелуй Альбертины, как когда-то ждал поцелуя матери. Т.е. здесь происходит то, что - можно сказать так, - что как бы акт построения текста сознания, разрывая вот эту зависимость, вбирает в себя пространство и время, и способен сам быть источником состояний или чувств, в том числе радости любви. Тогда - скажем, - Пруст способен переключить себя на любовь, в которой нет ожидания награды в виде обволакивающего тебя материнского лона, ведь - я повторяю, - это даже совпало с конкретной биографией Пруста: роман "Беглянка", т.е. часть романа "В поисках утраченного времени", при написанном начале и написанном конце романа, эта середина романа писалась после, и писалась тогда, когда разыгрывалась история, любовная история у самого Пруста с его секретарем по фамилии Агостинелли, который, во-первых, жил почти что на положении пленника со своей женой в доме Пруста - Пруст нуждался в постоянном присутствии этого пленника, - и исчез из жизни Пруста примерно так же, как Альбертина, т.е. по своему своеволию он хотел выучиться на

летчика и убежал из дома Пруста, и потом погиб во время катастрофы самолета. Тем самым показав себе, что на самом деле происходит, т.е. собрав символом все эти разорванные вещи, последовательно идущие, как картину того, что со мной происходит, Пруст только и смог овладеть собой. Вот чем он отличался от Свана. Сван потерял способность любить и чувствовать из-за любовных разочарований, а Пруст посредством искусства, т.е. письма, сохранил или приобрел, наоборот, - скажем так, - приобрел эту способность уже в другом виде, чем ту, которой судьба его наделила и, наделив, разыгрывала в разных эпизодах одно и то же - что-то происходило одно.

Значит, я повторяю основную мысль - а мысль здесь совершается как акт, вбирающий в себя пространство и время, и вместо разорванных мест, где что-то происходит, и вместо последовательности временной, сам становящийся источником событий или мыслей, - о том, что это очень серьезная вещь - я приведу пример совсем из другой области, - о том, как вот бывают так расположены пересечения шаром линий, как они нам предстают в виде не связанных событий, происходящих в разных местах пространства и времени, хотя происходит нечто сцепленное, одно и решающее для нашей судьбы. Я приведу некоторые цитаты, за оставшиеся несколько минут, из Толстого.

Был в русской культуре и не только великий писатель, но (как ни странно, качество мыслителя приписывается только Достоевскому), в действительности, Толстой был прекрасный мыслитель, к сожалению, мало оцененный. Я сейчас вам как бы задам все, о чем мы говорили, простейшими вопросами, которые здесь фигурируют у него, у Толстого, когда он описывает - скажем, - терзания, мучения Кутузова. Во-первых, я скажу вам так, что в реальной истории событие не имеет начала, неизвестны его концы, ничто не завершается, ничто не начинается, все просто течет и смысл непрозрачен. В момент происхождения событий нет смысла, смысл еще должен установиться, событие должно пройти какой-то путь. И вы можете читать у Толстого следующее. Вот что может делать главнокомандующий? Главнокомандующий ведь должен мыслить. Ну, переводя на язык, близкий Прусту, мы сказали бы, что главнокомандующий должен уметь интерпретировать. Вот Пруст интерпретировал некоторые впечатления, взял их как символы, он их интерпретировал как значащие что-то другое, сумел их интерпретировать. Так вот, главнокомандующий тоже находится в роли интерпретатора не перед каким-то полем боя, в котором все стоит на своих местах, и ему нужно совершить какие-то акты, - а он находится в середине движущейся массы событий, смысл которых в реальности никогда не завершен, а - я подчеркиваю, - завершить мы его можем,

только дополнив воображением и построив акт мысли, или произведение искусства в измерении смысла и понимания. Толстой говорит так, что главнокомандующий никогда не бывает в условиях начал какого-нибудь события, он уже в гуще, события уже начались. Главнокомандующий всегда находится в середине движущегося ряда событий и так, что никогда, ни в какую минуту он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события, событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение - т.е. значения нет **до**, а событие мгновение за мгновением - в отличие от моей бездарной речи, Толстой выражается пластично и точно, - событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, - и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания событий, главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры интриг, забот, зависимостей, власти, проектов, советов, угроз, обманов, - находится в постоянной необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, часто противоречащих один другому, вопросов. Вдруг мелькает вопрос: защищать или оставлять Москву? Толстой утверждает: нет такой ситуации, в которой свободно мог решаться этот вопрос. Когда же решился этот вопрос? Т.е. когда в действительности происходит то, что мы видим происходящим в последовательности. В последовательности нам кажется, что мы в каждый данный момент последовательности можем сейчас начинать, сейчас это произошло, и **сейчас** мы должны отметить решением. Нет. Когда же решился этот вопрос? - спрашивает себя Толстой устами Кутузова. Дальше, он спрашивает себя так, - "неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал, когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться, или еще прежде, но когда? Когда же решилось это страшное дело?" В каком-то плане бытия оно уже решилось, и происходит, и крутится, а я, наблюдая разрозненные куски, должен уметь спрашивать, когда же это решилось? - и есть ли вообще такой вопрос?

Например, в условиях наших, гражданских, нет вопроса, и невозможно ответить на вопрос: должны ли мы следовать закону или защищать интересы жизни незаконными путями? - Потому что мы ведь находимся в ситуации, когда очень часто жизнь может защищать себя только незаконным способом. В противовес этому стоит закон и тупое законничество. Вопрос выбора между ними, да? На месте Толстого я сказал бы так: нет такого вопроса, такой вопрос не может задаваться свободно, потому что все это решилось где-то, когда-то, и я должен спросить где, когда решилось то, что сейчас происходит. Т.е. то, что

сейчас происходит, во-первых, происходит не то, что я вижу, во-вторых, происходит не там, где я вижу это происходящим, и, в-третьих, происходит не тогда, когда я вижу это происходящим. Т.е. не тогда, когда я увидел даму в розовом, не тогда, когда я почувствовал запах сырости в уборной и т.д. Значит, актом мысли было бы выйти из этого и построить конструкцию, которая позволила бы нам установить действительное длящееся событие, где, когда оно сцепилось, и что именно происходит в **действительности** - я подчеркиваю, - а не то, что нам кажется происходящим. Кажется, дано нам разрозненными проявлениями в разных местах пространства и в последовательности, - а в действительности, во-первых, нет никакой последовательности, это уже происшедшее, и, во-вторых, это не там, не в этих местах пространства, может вообще не пространства, а просто эффект - проходит в круг через нашу поверхность, нашу поверхность пересекает круг. Вот такой круг в наших гражданских делах действительно пересекает нашу поверхность, когда мы вдруг оказываемся перед вопросом "что делать?" Ясно, что здравый смысл вот так требует, но чтобы защитить интересы здравого смысла, я должен нарушить закон, а закон нарушать нельзя - это нечестно. Так вот, акт мысли есть акт воспринять это как эффект чего-то другого, что на самом деле происходит, и акт мысли есть акт, ведущий нас от кажущегося или от кажущихся эффектов к действительно происходящему, акт мысли, являющейся построением, созданием чего-то, чтобы мыслить, или созданием текста сознания. Скажем, литературный текст у Пруста есть текст сознания, посредством которого он может увидеть то, чего не увидел бы никогда, чего не увидел его коллега по любви Сван, а вот он - смог увидеть.

Ну что, давайте на этом кончим? Хотя из Толстого хотелось бы привести еще кое-какие цитаты, но я завершу одной простой вещью тогда, которая совпадает с тем пунктом размышлений, на который Толстой натолкнулся. Значит, перед нами стоит проблема непрерывности, что есть всегда непрерывность сцеплений, внутри которых мы находимся, и человеку трудно мыслить эту непрерывность - это я цитирую просто вам Толстого.

На этом закончим.

Лекция прочитана в апреле 1987 г. в Тбилисском университете.

Илья ВОРОНОВ

10500 ПАРАСАНГ НАД ЗЕМЛЕЙ *

Виктору Гиндилису

На свежевыструганных нарах, в новом бараке Освенцима медленно умирал старый еврей Лев Эйзенштейн.

Это его конец - говорили наши, - при заражении крови иначе и быть не может.

Совсем недавно он, и так сильно близорукий, лишился глаза - охранник толкнул его в барак, он споткнулся, или просто не удержался на ногах, упал, и трухлявый сучок деревянной чурки, вопреки всем правилам не убранной вместе с остальным строительным хламом, точно вошел в его правый глаз, вырвал веко, и остался наполовину в голове. Мы пытались вытащить труху, но доставляли ему больше мучений, чем пользы.

Это его конец, говорили наши, - никто еще не видел, чтобы такие раны заживали. Но мучился он долго, дней пятнадцать, и нам, одуревшим от голода и работы, казалось удивительным только, почему его так долго не забирают - проходили дни, а Лев Эйзенштейн оставался лежать на своем месте.

Я хорошо помню, как он силой растолкал меня ночью: - Проснитесь, проснитесь, понимая всю необычность моей просьбы, я все же прошу Вас выслушать меня, Вы слышите? я должен передать Вам нечто важное, слышите?

Я не видел в темноте лица Эйзенштейна. я плохо понимал сами слова, и как мне показалось сквозь сон - голос, разбудивший меня, такой властный и бодрый, принадлежал одному из охранников, и я нимало удивился, когда понял, что до восхода солнца еще далеко, все спят, и передо мной не охранник, а полуслепой еврей. Это необъяснимое несоответствие слов и голоса, которым они произносились, оставило во мне какое-то жутковатое ощущение, смешанное с раздражением и неприязнью.

- Идемте, я не могу долго стоять...

Необычного в этом ничего не было - последние просьбы людей, чувствующих или знающих близость смерти, приходилось выслушивать часто. Записочки на обрывках бумаги, начерканные углем, почти не передавали из-за их недолговечности - угольные буквы сливались в черную грязь, размокали от пота и дождей, сами бумажки изминались, лохматились и куда-то пропадали. Но отказаться, не брать записок не могли, хотя и тот, кто должен был передать, и кто передавал, догадывались о их судьбе. Опытные потому больше доверяли памяти. (Еще до моего перевода в Освенцим целый ряд странных совпадений основательно очернил этот, в любом случае вполне человечный обряд - чувствующие смерть выбирали для передачи весточки на свободу самых сильных и, как им казалось, выносливых людей, но волею случая получалось так, что последние то и гибли скорее, а те, кто готовился к смерти, выживали, их как-то миновали многие беды. Благодаря этому, среди обреченных сложилось определенное поверье - если хочешь выжить, передай с кем-нибудь пару слов для детей, матери или близких, и дурным знаком считалось, если тебе выпала роль слушателя. Вначале я не придавал значения подобным вещам, но лагерный мир быстро сузил критическое мышление, исключением я не был, и скоро сам стал избегать бесед со слабеющими и падающими духом).

...- Мне важно передать вам один рассказ, или сказку, если хотите... Моя двоюродная бабушка рассказывала ее мне. Она немного повредилась умом после Кишинева, и могла иногда часами проговаривать ее слово в слово. Не время сейчас объяснять... Ей передал дед, а дальше я не знаю ее истории... Будете в Москве, найдите в синагоге Ивана Каца, скажите, старая Броня Эйзенштейн рассказывала ее мне. Тогда я был маленьким, и вспомнил сказку перед первой войной, спустя несколько лет после смерти бабушки, читая “Метафизические размышления” Декарта, случайно найдя вдруг ее смысл. Вы найдете. Запомните все, не забудьте слов. Слушайте, называется она “10500 парасанг над Землей”. - Люди ходили. Серым, расслаивающимся камнем была вымощена Земля ...

Эта больше притча, больше предание, чем сказка жила со мной всю жизнь, и меняла меня - в сущности, на ней, так или иначе построено все мое мировоззрение. Каждый раз, обращаясь к ней, я находил все новые и новые ее грани, и часто к ней обращало меня происходившее со мной, к ее знанию, к ее потаенной силе... но я совершенно не хочу пытаться описать, навязывая тем самым свои мысли и ощущение мной ее смысла.

Много раз я заходил в московские синагоги, расспрашивал всех знакомых и не знакомых мне людей, но так ничего и не узнал о Иване Каце, и никто не вспомнил старую Броню Эйзенштейн. Я предлагал опубликовать эйзенштейнову притчу нескольким издательствам, выслушивал различные суждения, и получал всегда вежливый отказ. (Как мог я объяснить им, что изнеженность, избалованность миром несет со всем своим счастьем и теплом утрату способности воспринимать если не истинные, то очень значимые вещи, я не мог объяснить им, что есть субстанции, которые невозможно оценить до конца - наоборот, они кажутся обыкновенно лишенными всяческой ценности - в легком, сухом и сытом бытии, я не мог заставить их понять, что вся мировая эсхатология есть предчувствие, красочно-словесные предугадывания, символические и интерпретированные образы, страх от где-то засознательного, но вполне конкретного тем не менее знания; результат сопоставления, проводимой каждым, на многих уровнях аналогии от жизни своей, от смерти своей - к жизни всех, смерти всех. Я так же не мог сказать им, но для ясности (больше справедливости, чем ясности), скажу здесь о том, что если бы я сам услышал этот рассказ не в лагере, не тем человеком, каким я все-таки был - человеком, радость существования которого умещалась в сон и на столько же в порочное и покойное ликование от того, что умер сегодня не я (я [illegible] жив), что сегодня меня (по неизвестным причинам) не сожгли, не пристрелили, не отравили газом, не загрызли собаками и т.д. (я буду ненавидеть всю жизнь этих мерзких тварей)... Человеком, который черпал силы в смерти соседей, радовался их смерти (другой, не-своей) и боялся только того, как бы не издохнуть следующим. Если бы не то состояние моих нервов и сознания, я бы, как знать? - не отнесся ли к эйзенштейновой притче как к "безделке", не выразил ли своего отношения одним словом "неубедительно", или, что несомненно глупее, не назвал ли это "литературной подделкой в защиту жидов"?

Но у меня сложилось иначе. Я прибавил бы - слава богу.

И на что я еще хочу обратить внимание слушателей в своем незапланированном отступлении - я не пытаюсь этой публикацией преследовать тщетных целей, в чем, от неумения понимать, обвиняли меня некоторые знакомившиеся с этим текстом люди. Моя цель - передать и только, а ни в коем случае не запугать людей, ни направить как-то их мысли, ни, тем более, пытаться изменить их отношение к жизни. Я так же не счел нужным менять текст, принадлежащий непосредственно мне, и совершенно однозначно отказался от советов уделить больше места описаниям лагерного быта, вспомнить подробности и т.д.)

Прямо за стеной лаяли собаки, рядом кашляли и долго, отчаянно сплевывали на пол... Лев Эйзенштейн смолк. Я подождал еще несколько минут, прислушался - мне показалось, что он спит, тогда я встал и вернулся к своим нарам.

Подняли нас всех засветло, как всегда, до восхода солнца. Я проснулся с резкой желудочной болью, и все никак не мог разогнуться и встать - внутренности, как облитые цементом - застыли в одной форме, потеряли эластичность. Почти каждый день я мучился от этих болей, но сейчас я понимал, что что-то случилось, боль стала иной, боль стала болью, с которой можно бороться, больше чем терпеть, она как-то потеряла объем, лишилась тяжести, стала чем-то сторонним. Я не знаю, как это описать лучше - одним словом, я обрел новые, чистые силы. Я помнил от начала до конца эйзенштейнову сказку. (Слово *сказка* я не произносил даже в мыслях.)

Около нар Эйзенштейна стояли двое охранников и сам блокфюрер. Офицер потыкал в его грудь пальцем и сказал : "Трупы следует выбрасывать скорее дерьма". Эйзенштейна сразу стали стаскивать с нар, ставили на ноги, но он падал, тогда его потащили, ухватив за ноги, и глаз его был открыт (ведь он не был еще "трупом"), и я ждал, что он как-то попрощается со мной, посмотрит или даст знак, или что там еще? Но в мою сторону он даже не повернул головы, хотя я стоял здесь, рядом - и меня с тех пор не оставляет сомнение - знал ли он, что ночью разбудил именно меня, выбрал он меня раньше, наблюдая за мной со стороны или выбор его был случаен? Его большая, умная голова проволоклась по грубому полу, оставляя в щелях и зацепах белые волосы, и исчезла так же навсегда, как и тысячи, миллионы голов исчезают в таких местах как Освенцим.

В этот день я не ходил на общие работы, мне и еще нескольким заключенным дали задание поправить прожекторный столб, покосившийся из-за рыхлой почвы и слишком туго натянутой проволоки, крепившейся от него к другим столбам. Я механически работал, выковыривая вязкую землю лопатой, я работал, и голова моя была пуста, совершенно пуста, и ни одного проблеска мысли, ни ощущения времени, ничего, кроме тишины и незаполненности. Вот, вот - тишины. И тишина была сломлена - десятки всюду развешенных громкоговорителей грянули траурным маршем Вагнера, и вместе с этой прекрасной музыкой, мгновенно все перевернувшей во мне, пришли слезы, и я долго плакал, беззвучно, беззлобно, я ничего не видел, кроме размытого света да черной земли под лопатой. Я подумал, что хватит, хватит, я выпрямился, вытирая лицо рукавом, и взгляд мой остановился на вышке - под крышей курил, шагая из стороны в сторону,

солдат. Не отрывая взгляда, я смотрел на вышку и солдата. Я старался рассмотреть его лицо, но снизу было невозможно разглядеть черт - кроме спины, каски и смазанного профиля, я ничего не видел. Я смотрел, пока охранник из немцев не ударил меня в пах, пока я не упал в мокрую грязь мною же вырытой ямы.

И так уж получилось, что на следующий день я видел, как плачет этот охранник. Пришло извещение о гибели (от бомб союзников?) его то ли семьи, то ли сестры, то ли матери, я не знаю. Он плакал так же, как и я всего несколько часов назад - сдавив зубы, тихо. Он сел рядом с нами и плакал - его ненависть к нам была так велика, он настолько не считал нас за людей, что не скрывал, не думал скрывать свои слезы. Я видел его, и вторая, только вторая грань эйзенштейновой притчи открылась мне. Я бросил лопату, подошел к нему, и (зачем?) склонил перед ним голову.

"Однако, в силу того, что эти доводы геометрии несколько длинны, и требуют полного напряжения ума, они постигаются лишь весьма немногими. Точно так же, хотя я и считаю доводы, которыми пользуюсь в этом сочинении, равными или даже превосходящими по своей достоверности и очевидности доказательства геометрии, я тем не менее опасаюсь, что они не могут быть удовлетворительно поняты многими, как по причине некоторой длины и зависимости их друг от друга, так главным образом и потому, что их понимание требует ума, вполне свободного от всяких предрассудков и способного легко отрешаться от услуг внешних чувств."

Рене ДЕКАРТ. Метафизические размышления. Посвящение.

10500 парасанг над землей

Они ходили. Серым, расслаивающимся камнем была вымощена Земля. Где-то, ближе к середине, выходила из земли и пропадала в небе, больше и больше расширяясь вверх, в сторону Солнца, огромная мраморная глыба. Небо было обыкновенным, т.е., как казалось людям,- светлым и голу-бым. Но на самом деле светлой была только маленькая земля - Небо всегда темно, и недосягаемо глубоко. Люди ходили по камню, ступая тяжело и медленно. Они свершали свой путь. У каждого была своя орбита. Они постоянно возвращались к жилистому мрамору, обходили его, шли обратно, делая полукруг в точно для каждого определенном месте, и снова пропадали за глыбой. У всех свой элипсоидный путь по этой земле. Рано или поздно, все заходящие за

мрамор исчезали навсегда, их сменяли другие, и на каждого ушедшего приходилось двое, а то и больше новоприбывших.

Постепенно их стало много, и орбиты, не находя свободного места, накладывались на старые, орбиты стали совпадать, но не было такого, чтобы кто-то шел вместе, всегда один оставался позади другого. Когда их стало очень много, орбиты не только совпадали, но и перекрещивались под разными углами. Избегая столкновений, они стали либо ускорять, либо замедлять свой шаг. Те, кто ускорял, быстрее исчезали за глыбой, но на каждого приходилось двое, а то и больше новоприбывших. Теперь считалось медленным то, что некогда считалось быстрым.

И так продолжалось еще долгое время, пока одномгновенно сотни миллионов человек не столкнулись в пересечении своих путей, и не было таких, кто не пострадал бы вовсе, но большинство, с размозженными головами и вмятыми торсами, разливая кровь по земле, тут же пали.

Все, кто остался, продолжали ходить, втаптывая постепенно безымянное трупие в щели камня. Они пытались быть непокорными, но мрамор притягивал их. Они говорили: Господи, ты дал нам души, и мы почему-то не можем спокойно смотреть на пролитую кровь, мы не можем так просто топтать останки наших братьев, но и не в наших силах изменить свои орбиты. Измени их, Господи, останови нас, Господи, ведь с новым шагом мы все ближе к глыбе, и на каждого из нас придется двое, а то и больше новоприбывших, и значит, все это повторится, Господи. И, конечно, они не могли, произнося это, смотреть на разла-гающиеся тела, им некуда было отвернуться, и они кричали слова в голубое, светлое небо, не зная, как оно непроницаемо глубоко.

Они заходили за мрамор и пропадали там навсегда. У сменивших их уже не было страха в глазах. У них сложилось свое впечатление об окружающем.

И не было этому начала и не было этому конца.

1990.

П а р а с а н г а - персидская мера длины, равная 5-6 километрам. 10500 парасанг - длина бороды Бога в анонимном каббалистическом сочинении VII (?) века "Шиум Кома" (Размеры Божества).

Илья ОКАЗОВ

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Ближайшая почтовая контора,
Агасферу, до востребования.

Любезный друг!

Должен сказать, что ты на редкость неудобный корреспондент.

Чрезвычайно трудно рассчитать, куда адресовать тебе письма. Это напоминает стрельбу по движущейся мишени, чего я, как ты знаешь, не люблю. Будучи вообще мирным человеком и заботясь (как ты знаешь, небезуспешно) о своем здоровье, я избегаю как стрельбы, так и других видов волнений. Конечно, я сам виноват, что изобрел порох (хотя это вышло случайно, я искал философский камень), но вот уже почти двести лет я не принимаю участия ни в каких военных действиях держав Европы и Азии и целиком поглощен изготовлением бриллиантов и изучением ностратических корней. Кстати, в этой области я сделал несколько значительных открытий - это благодаря многовековой разговорной практике на нескольких сотнях языков и диалектов.

Ты можешь, впрочем, и сам упрекнуть меня за неаккуратность в ответах. Но, во-первых, тебя почти невозможно поймать (т.е. вычислить место твоего пребывания), а во-вторых, хотя я путешествую гораздо меньше тебя, однако же ты умудряешься присылать мне письма с неизменным опозданием. В России, откуда я уехал в некоторой растерянности еще в семидесятых годах того столетия (ибо реформы Иоанна Грозного, при всей их неоригинальности, оказались слишком непредсказуемы), письмо твое получили уже при поляках. К счастью, в России так мало грамотных людей, что твой посланец не пострадал. Следующее твое письмо ныне находится в стокгольмской кунсткамере, так как королева Кристина, у которой я опять-таки незадолго перед его приходом занимался поощрением изящных искусств под именем графа Шёнинга, отлично разбиралась в древнееврейском. И это несмотря на твой почерк! Винить тебя, конечно, трудно, однако за полторы тысячи лет ты мог бы натренироваться и на ходу писать поразборчивее.

Грустно говорить о хороших людях в прошедшем времени. Давным-давно казнен мой друг Джафар Бармакид, которого я не сумел уберечь от нелепейшей гибели, почила в Бозе Кристина Шведская, несколько

других славных людей угодили на гильотину... Но, находясь в мировой истории на нелегальном положении, я в свое время поклялся минимально вмешиваться в ее ход. Я знаю твой озлобленный характер, дорогой Лакедем (мне привычнее обращаться по-французски, вот уже многие годы я и сам пребываю под именем Сен-Жермена, да и вообще это весьма красивый язык, уступающий разве что зендскому), но все же и ты не можешь не признать, что за время твоих странствий многое в мире изменилось к лучшему. Даже эти смуты во Франции, когда я подвергся страшной опасности из-за своего титула, явно послужили людям на пользу. Скоро мне придется перестать зваться графом и именоваться просто коммерции советник такой-то или доктор имярек, - как один мой коллега, предпочитающий быть веймарским министром. В сущности, не все ли равно, какое выдумать себе имя? Порою мне кажется, что выдумано не оно, а я сам, или весь мир вокруг меня, или и то, и другое, и третье.

Но вот уже много лет я не получаю от тебя вестей. Из десятых рук до меня доходит, что некий Карталеус был замечен в Венгрии, некий Исаак Лакедем давал здравые советы по восстановлению финансов какому-то саксонскому князьку, а некий Агасфер даже (представь себе!) погиб при восстании в Хэнани против манчжуров. Кстати, я явно недостаточно времени провел в Китае, и если тебе удастся хоть что-нибудь узнать о Золотой Киновари даосов, будь любезен, сообщи мне: любопытно, совпадает ли ее рецепт с моим составом философского камня. Впрочем, по слухам, это снадобье обращает кирпичи в золото лишь на какие-то три тысячи лет, и даже один даосский мудрец заметил, что ради этого не стоит трудиться; но в большинстве они настолько несокрушимо самодовольны, что иногда я думаю, будто им и впрямь известен способ приготовления этого средства.

Обо мне ты, вероятно, слышал столь же отрывочные сведения; что еще к ним добавить? В Париже я познакомился с довольно приятным итальянцем по имени Казанова; по старой своей привычке я заронил в его душу семена сомнения, и этот авантюрист сделался библиотекарем - это очищает душу и засоряет голову, но зато дало возможность развернуться его несомненному литературному дарованию. Там же я имел в высшей степени приятное знакомство с одной русской красавицей, заплатив за это всего лишь одной отнюдь не универсальной формулой теории игр. Быть может, тебя заинтересуют мои беседы с Наполеоном Бонапартом, но я намерен выпустить их отдельной книжкой со многими политипажами, как только их здесь изобретут, - это тебе будет интереснее. Один его офицер, впрочем, заинтересовал меня; его фамилия Бейль, он талантлив, но слишком горд, чтобы подражать мне в

чем-либо; я готов был подарить ему если не бессмертие, то хотя бы долговечность, но он вместо этого попросил пересказать ему старые итальянские сплетни и придумать хороший псевдоним. Я многого ожидаю от него.

Но вообще, друг мой, со мною происходит что-то неладное: может быть, хоть и страшно признаться, я старею. Будучи на шестьсот с лишним лет тебя моложе, я вовсе не хочу умирать; более того, я не скрою, что боюсь смерти. Ведь и тебя, Лакедем, по правде говоря, угнетает вовсе не долголетие, а твой беспорядочный образ жизни и, главное, то, что твое бессмертие дано тебе в наказание, - так ты на него и смотришь. Я же достиг долголетия собственными силами, это моя цель, но не самоцель: я все же ученый, и по нынешним временам один из крупнейших. В отличие от пресловутого Фауста я никогда не гонялся за наслаждениями, не пытался похищать ни Елену Спартанскую, ни королеву Элинор, ни мадам де Помпадур, всегда был умерен в пище, не пью, не курю табака и даже, по мере сил, борюсь с его распространением. Мне нужно очень многое успеть, друг Лакедем, на свете столько интересного!

Мою волю к жизни подстегивает и то, что, в отличие от тебя, я не неуязвим, любая шальная пуля или пьяный мужик могут оборвать мою жизнь, а мне необходимо, совершенно необходимо узнать, делим ли атом! Может быть, после этого жизнь мне уже станет в тягость; может быть, мои открытия окажутся еще ужаснее, чем те, когда меня звали Бертольд Шварц; но любопытство - лучшее мое качество, любопытство и умеренность. А если со мною что-нибудь случится... там не будет ничего интересного, и все будет непомерно. Кстати, я никогда не задумывался, попаду я в ад или в рай? Опять же, моя умеренность, склоняет меня к чистилищу; но, чем дольше я живу, тем глубже вкрадывается мне в душу подозрение, что ТАМ нет ни рая, ни ада, ничего... Я не хочу умирать, я еще так молод!

Но, может статься, прав был мой знакомый Кальдерон, а до него Ли Гун-цзо и многие другие, и жизнь есть сон? Они утверждали, что это - сон каждого человека; я склонен думать, что это сновидение Кого-то другого. Этот Кто-то творит миры во сне (ибо сны всегда бессмысленны), а мы, по образу и подобию его, творим их в своих грезах. Каждый поэт способен придумать Харуна, Самсона или Сен-Жермена, и любой ученый в два счета докажет их нереальность. Но сумеет ли он доказать столь же легко собственную реальность? Сейчас Агасфер - миф, а Бонапарт - реальность; нет сомнений, что через несколько столетий мифом станет и Бонапарт. Его счастье, что он не задумывался

об этом: он просто творил свой мир, не утруждая души сомнениями в собственном существовании.

Пиши мне обо всем, что узнаешь нового. Мне всегда был нужен кто-то способный понять меня, хотя бы неправильно.

До встречи!

Твой друг - ну, хотя бы СЕН-ЖЕРМЕН.

3 декабря 1816 года от известной тебе даты.

P.S. Увы! Только сегодня, с большим опозданием, мне попалось в руки длиннейшее стихотворение господина Г.Х. Шубарта, в котором говорится, что "не вечен Божий гнев", и ты умер. Я не ожидал, что пере-живу тебя, и это меня не радует. Это письмо не будет отправлено: оно будет странствовать со мною и повторять мне: "Memento mori, таинственный граф!"

С.Ж.

P.P.S. И все же: а если Спящий проснется?..



Вячеслав ПОЛИЩУК

ВРЕМЯ РАДОСТИ.

Этюды на кухне.

Я ощущал тепло любви, окутавшей чудесный факт моего рождения, в каждое мгновение своего существования: в терпком холодке домашнего творога; в удивительно густом кефире, в который бабушка, тайком от меня, подмешивала сметану; в постоянстве нахождения в круглой жестяной банке, стоявшей между диваном и белым, гладким радиатором батареи, сухариков; в котлетах к завтраку; в яйцах, приносимых мне по утрам из курятника. Вспоминая фаршированную рыбу, эсик-флейш, кугл или фарфелах, величайшим грехом было бы назвать все это, делавшееся руками бабушки, руками сестер моего деда на свои пенсии за мужей, погибших на фронте и по лагерям, - едой. Разве можно было просто назвать обедом то, что творила бабушка на двух керосинках в тесноватой кухне коммуналки, разве слово "пища" способно что-либо сказать о бульонах с клецками и пирожками, с нудлен и "бабкой", холодцах из говяжьих ножек, заливных щуках, хремалах, картофельных латкес, о цимес, вишневых, сливовых, яблочных наливках, о смальце и шкварках, о нежнейших рыбных котлетах, о блинчиках с мясом, творогом, картошкой, капустой и рисом, о куриных шейках, о том, что мы в своем бессилии зовем сладким, - тейглах, ингберлах, ангемахц, "хворосте", хоменташен, о бисквитах, леках, струдель... Чудеса эти не имели числа, как бесконечна была подаренная мне любовь.

●

Сейчас бы я многое отдал, чтобы только услышать запах яств, которые необходимостью их есть лишь отдаляли момент, когда бабушка приносила кастрюльку с кисло-сладким мясом. Лучшая говядина покупалась для этого, чуть, самую малость, подернутая жирком. А сама подлива, ароматная, темно-красная, удивительно соединявшая в себе

сладость с нежной терпкостью лимона! Кусочки мяса томились в огненно-горячей подливе, а я томился в ожидании из-за жара кушанья, уже находившегося в моей тарелке. Это бы кончилось катастрофой, не окажись на столе малосольных огурчиков. С хрустящим холодком они принимали на себя обжигающий жар подливы. Через несколько минут подлива немножко остывала, и я блаженно наслаждался. Эсик-флейш полагалось есть с белым хлебом. Как замечательно было корочкой счищать остатки соуса с тарелки, понимая всю значимость последних мгновений.

●

Тетя Хая устраивала чай. Она жила в маленькой светлой комнате большого, как мне тогда казалось, дома, построенного пленными немцами. Её окно высокого первого этажа выходило в сад, где летом на раскладушках жильцы проветривали перины, подушки и одеяла.

Я до сих пор помню этот сухой запах пуха, впитавшего в себя аромат травы, ветерка и солнца. "Мама моя," - приговаривала тетя Хая и брала меня за голову теплыми, мягкими ладонями с растопыренными пальцами, целуя в лоб. Я был назван по первой букве имени моей прабабушки Сони. Белые, чуть с желтизной, волосы тети Хаи, гладко зачесанные назад и собранные в пучок, пахли чистотой и чем-то сладким. Её мужа забрали перед самой войной. Только раз она с грудным ребенком ездила к нему в лагерь. Больше они не виделись.

Посреди комнаты стоял круглый стол под белой скатертью, свисавшей почти до пола. Я очень любил, когда скатерть тяжестью накрахмаленных складок лежала на коленях.

Среди графинов с наливками, вазочек с конфетами, коржиками, тейглах и вареньями царствовал бисквит. Он блистал перламутровой белизной взбитого яичного белка, чуть присыпанного тертым шоколадом. Его круг, с легчайшей корочкой и нежной розовато-коричневой внутренней окружностью, был праздничен, весел и беззаботен. Бисквит и леках выпекались в "чуде" - круглой металлической посуде с жестяным цилиндром посередине, но как различны были они по своей сути, и как мудро эти различия имели одно начало. Таких бисквитов, какие пекла тетя Хая, сестра дедушки, источавших аромат ванильной пудры, податливых под моими пальцами, касавшихся моих губ, с легким нажимом отделявших кусочек тепла, - я больше никогда не ел. Были еще всякие сладости и прочие чудеса, но бисквит был всегда один.

●

Были кушанья, присутствовавшие на столе каждый день. Ими реже восхищались, но их незаметность подчеркивала невозможность быть без них. Как преданные и любящие тебя люди незаметны, а их исчезновение оказывается самой большой потерей, так и эти тарелки с маринованными помидорами, квашенной капустой были не на первых ролях. Конечно, премьером считалась фаршированная рыба, но даже она - ничто, если возле нее не примостилась тарелка с солеными огурцами. А как тактично своей прохладой завершал обед яблочный компот. В доме деда этим мелочам уделялось большое внимание. Но особенно хороши были маленькие, крепкие малосольные огурчики. Они долго не хотели даваться в руки вылавливавшей их бабушки. То они не проходили в горлышко, то сцеплялись друг за друга, выскальзывали, плюхались в рассол, плотнее прижимались к стенкам банки, то хитрили, обманывая своим размером через толщу влаги, прятались под лавровыми листьями, плававшими вместе с черными перчинками, зубочками чеснока и веточками укропа. Но мы знали, да и они догадывались, что все это бесполезно, и лежать им на блюдце аккуратно нарезанными. Упругие дольки охлаждали, давали мгновения перевести дыхание от огненного жаркого, хрустели, брызгая нежным соком, и, наконец, разливались солоноватой прохладой.

Дедушка любил, чтобы все подавалось горячим. Я никогда не отваживался есть борщ сразу. А белая рассыпчатая картошка дымилась так, будто внутри у нее бушевало пламя. Только дедушка, дуя, причмокивая языком, перекатывая во рту пылающее кушанье, раскрывая и вытягивая губы, умел управляться со всем этим. Мягкий звук прикосновения его языка к верхнему небу я слышу и сейчас, когда во сне ем яблоки, которые перочинным ножом дедушка очищает от кожицы и режет на дольки.

●

Курица выбиралась словно невеста. Дедушка заглядывал ей в глаза, дул на перья, а хозяйка клялась в таких достоинствах наседки, которые не снились не только курице, но и самой хозяйке.

Из окна кухни я видел, как бабушка шла через двор, бережно держа в руках несколько яиц. Ничего особенного не происходило. Просто на завтрак мне давались два сваренных "в мешочек" яйца. Яйцо

стояло передо мной в зеленой пластмассовой подставочке, со специальным углублением для соли. Я разбивал скорлупу, отламывал её кусочки, и чувствуя горячую желтизну, просвечивающую через упругость белка, который срезался теплыми пластинками, атласными с одной стороны и шершавыми с другой. "Мешочек" прогибался под остриём ложечки и, наконец лопался. Я подсаливал белую срезанную вершинку и, уже дотрагиваясь до неё губами, ощущал жар, смешанный с металлическим привкусом серебра. Желток был горячим и вязким. Его золото с трудом слизывалось, подсыхая на губах тонкой вяжущей корочкой. Я отламывал белые кусочки извести, пока не доходил до ободка подставки. На самом дне, между тонкой матовой пленкой и тупым концом яйца, несколько капель влаги собирались в озерцо, и, если присмотреться, можно было разглядеть часть своего носа. Дедушка сидел и смотрел, как едят его дети и внуки. Это была его радость, самая большая радость лучшего в местечке дамского парикмахера.

Темно-коричневая масса лениво клокотала в раскаленном медном тазу, наполняя кухню вишневым ароматом. Дымящиеся поверхность рождала пузыри, лопавшиеся с круглым глухим звуком; бугорки ягод, словно облитые черным шоколадом, гонимые помешивающей их деревянной ложкой, плавно совершали движения вдоль горячей меди. В эти часы кухня, наполненная влажным паром, поднимавшимся от нескольких тазов, ароматом ягод, голосами хозяек, изредка перебрасывавшихся короткими замечаниями, позвякиваньем ложек, была похожа на место, освященную чем-то таинственным, важным. Но это было лишь прелюдией к самому главному, что влекло меня в кухню, - появлению на бархатистом глянце варенья нежнейшей розовой пленки - барбицы. Постепенно она покрывала горячее месиво, делала его, словно усыпанным лепестками цветущей вишни. Слой барбицы был тонким, и бабушка осторожно ложкой снимала пленку, чуть забирая теплую жидкость варенья и стряхивая её на блюдце. Барбицу намазывали на ломтик белого хлеба и давали мне.

Угол дома походил на пирог, из которого вырезали кусок. На месте съеденного куска под навесом первого этажа, находился маленький базарчик, знаменитый во всем нашем огромном доме, прозванном в городе Домом Рабочих. Здесь по утрам хозяйки выкладывали для продажи пучки укропы, лука, петрушки; пирамидками грудились янтарные ядра белого налива, шары терпкой антоновки, пунцово-красные цыганочки и мои любимые медонички, часто с червячком внутри, но сладкие и маленькие, ими было удобно набивать карманы, отправляясь гулять, в гости или просто шататься куда-нибудь. Груши

ставились хвостиками вверх, рядами и по размерам: зеленые, хрустящие, как орехи; огромные, с легкими коричневатыми родимыми пятнами, распираемые спелостью, сладкие до того, что перехватывало дыхание, с соком брызгавшим во все стороны, ароматным и липким, стекавшим по подбородку. Грелись на утреннем солнышке синие запотевшие сливы. Из корзинок граненным стаканом в газетные кульки насыпали крыжовник, вишню, красную смородину, стручки гороха, клубнику, малину, землянику. Горки пупырчатых огурчиков, бордовых помидоров, кабачков ожидали покупателей. Вдоль стены в ведрах, бидонах, банках ставились охапки гладиолусов, астр, ноготков, букетики анютиных глазок, сверкали солнцами золотые шары, пылали огромными шапками пионы всевозможных оттенков и размеров, стояли охапки полевых цветов и садовых ромашек, благоухали мальвы.

У самой стены торговали молочным. На этом метре серого цемента был свой мир. Трехлитровые банки теплого парного молока, после глотка которого на губах оставался ободок сливок, и казалось, что целовался с коровой; маленькие баночки со сметаной, в которой ложка оставалась в таком положении, в каком её ставили, сметаной, которая не выливалась, когда хозяйка демонстративно переворачивала банку. Горки яиц удивляли тончайшими градациями цвета: от ослепительно белого до молочно-коричневого. И творог. Он был, казалось, живой. Круглые, овальные, прямоугольные бруски белой упругой массы лежали на белых тряпочках, прикрытые белой марлей. Это был апофеоз белого на белом. Дедушка медленно обходил всех и останавливался около молочниц. Он отщипывал кусочек творога, долго разминал его языком, чмокал, нюхал и обязательно покупал. Хозяйки ждали его, зная, что он никогда не торговался и покупал радостно, легко расставаясь с деньгами. А вечером я пил чай с творогом, посыпая сахаром его поверхность, на котором марля оставляла тончайшее кружево, похожее на окаменевшие следы исчезнувших животных.

●

Стол выносили на улицу и ставили между скамейкой, под свисающими ветками старой яблони, и домом моего прадеда Лейвика. Дощатая перегородка делила дом на две половины, где жили сестры моего деда, баба Рася и тетя Белла.

Чай пили во дворе, когда бабушка, дедушка и я летними вечерами приходили к ним в гости. К этому случаю пеклись коржики. Устраивали и большие обеды, но я не об этом, - я о коржиках, нежно подрумяненных, высоких, с запекшимися крупинками сахара,

восхитительно мягких. Они оставались мягкими несколько дней, что составляло их непревзойденную прелесть. Был какой-то секрет их мягкости и высоты, но, наверное, все таилось в руках, которые замешивали тесто, раскатывали его старой деревянной скалкой, горлышком тонкого круглого стакана выдавливали из жирного сладковатого блина кругляки, посыпали их корицей и сахаром. Горячие коржики, только что вынутые из духовки, пышущие жаром, лежали на противне. Иногда верхняя корочка чуть вздувалась и трескалась, как выжженная земля, обнажая в разломах молочную плоть теста. Одновременно сдобные и рассыпчатые, своим теплом в ладонях коржики наполняли меня радостью, а их запах сплетался с запахами вечернего сада, звуками голосов за столом, с теплым светом в глубине дома, с комариным зуммером и ароматом торфяного сарая.

●

Помню яичницу из десяти яиц. Как радостны были дни, когда все съезжались. И вот для себя, своего сына и меня дедушка заказывал яичницу. Он поднимался рано, успевая к часу, когда просыпались мы, поработать или сходить на базар, - на столе лежала груда яблок и всякая деревенская снедь. Пока все это убиралось, дед, стоя возле открытой витражной дверцы буфета, колдовал с графинчиками. Взрослые успевали выпить по паре рюмочек, когда бабушка, держа горячую сковородку за обмотанную тряпкой ручку, вносила яичницу. Толстый, желтый блин яичницы благоухал. Местами он вздымался, и показывалась темная поджаренная изнанка. Яичница, с подернутыми глазками желтка, как крупная губка, каждой своей порой источала тепло. Круг резался на три больших части и одну маленькую, для бабушки. Попадая на тарелки, куски слегка оседали, и меня охватывал страх перед предстоящей работой, которую не всегда удавалось выполнить до конца.

●

Перед обедом я бежал за хлебом в маленький магазинчик, находившийся в соседнем подъезде. Буханка была еще горячей, с глянцевой, иссиня-черной корочкой. Я нес хлеб, нюхая теплый разлом горбушки, отдающий свеже-спиленным деревом и коровой. Из холодильника вытаскивалась большая кастрюля с борщом. В

наполненной летней жарой комнате зеленые эмалированные бока кастрюли покрывались мельчайшим матовым бисером влаги. Бабушка разливала густой красно-фиолетовый борщ по тарелкам и заправляла его сметаной, которая срезалась со стенок банки упругими пластинками. Холодная сметана долго плавала снежным комком. Её приходилось, помешивая, разгонять, пока поверхность борща не делалась розоватой,окруженная ободком белых крупинок. Дедушка резал хлеб аппетитным веселым круговым движением, прижимая буханку к груди. Прижатая сторона с легким хрустом ломалась, когда дед отрывал кусок хлеба. К холодному борщу всегда подавалась селедочка. Она умиротворенно лежала на продолговатом узком блюде, вымоченная в уксусе, очищенная от косточек, порезанная ломтиками и обложенная кружками свежего зеленого огурца. Какое было наслаждение соединять в чудесный букет океаническую соль, ржаное хрустящее тепло хлеба и пронзительную нежно-розовую прохладу борща.

●

Скатерти взлетали и, на мгновения замерев, распластавшись в воздухе, как раскрытые парашюты, плавно опускались на столы, поставленные вдоль дивана. Бабушка ладонями разглаживала дыбившуюся острыми складками на сгибах, накрахмаленную упругую материю, от которой исходил праздничный запах чистого белья и сухого дерева шкафа. После этого происходило действие, всегда завораживающее меня. Первозданная белизна столов расцвечивалась сверканием хрусталя, холодным матовым блеском мельхиора, голубоватым сиянием тарелок и, конечно, всеми оттенками белого, золотого, охристого и коричневых цветов, - разложенных на блюдах сладостей. Тонкие ромбики ингберлах, будто сложенные из золотых крупинок, истекавшие медом, переливались отраженным солнечным светом; в маленьким стеклянных графинах рубином горела вишневая наливка, дымчатым топазом лучилось сладкое яблочное вино; ломтики струдель сухой шершавой поверхностью с глазками изюма были похожи на мостовые моего городка; вздымались желтой янтарной тяжестью ромбы тейглах из плотно пригнанных друг к другу круглых шариков обжаренного теста, политых медом; медью горел круг леках; источали тепло горки кихелах; таяли на блюдечках переплетенные нити редьки в меду; царствовала сдобная хала, украшенная легким узором маковых крупинок.

Требовались большие усилия, чтобы не заблудиться в узких улочках между конфетницами, темными колодцами вазочек с вареньем,

вязанками "хвороста", благоухавшими горками яблок, томных груш и веселых абрикосов.

Стол своей величавой белизной, оттененной золотом и голубым, высился посреди комнаты, сияя светом бесчисленных сокровищ. Дедушка пел, пел, играя, плача и смеясь, - голосами раввинов, бедняков, сапожников, обманутых мужей и портных. Ему то печально, то весело вторила тетя Фаня.

На большом блюде вносили только что умытый арбуз. С хрустом лопаясь под ножом, он обдавал сахарной свежестью половинок, смотревших десятками глаз черных блестящих семечек.

Мы приносили свою любовь к этому столу, сотворенному руками бабушки и дедушки для меня, моих приятелей со всего нашего большого двора, для всей семьи, собиравшейся летом в местечке. Это чудо повторялось каждое лето, в июле, первые пятнадцать лет моей жизни.

●

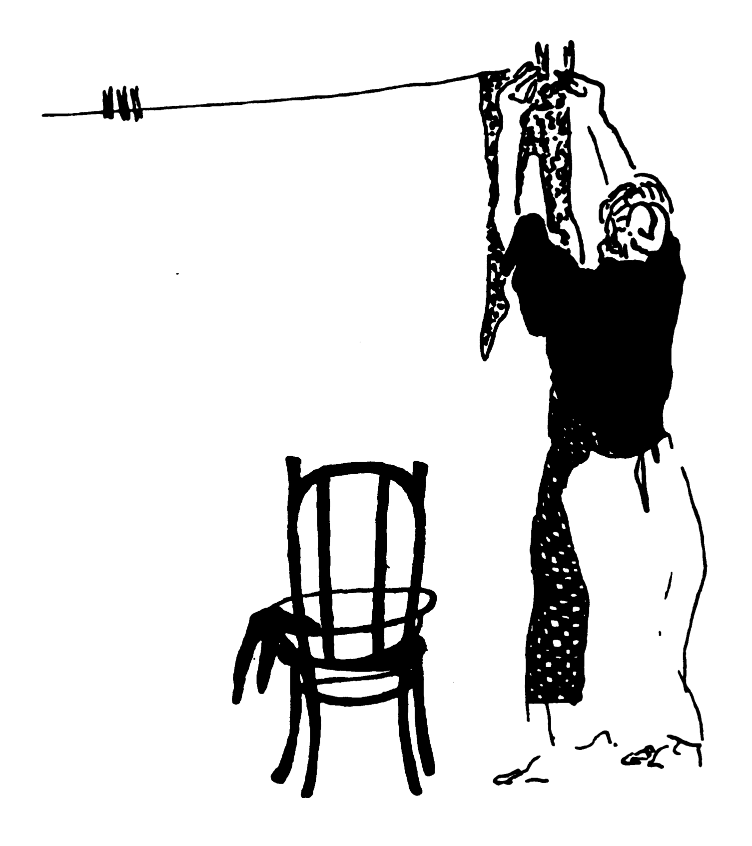
Мой дед мечтал купить корову. Он никогда не говорил об этом, но бабушка частенько подсмеивалась над его тайным желанием, осуществлению которого всегда что-то мешало: то бегство от голода, ожидание погромов, войны, а потом... а потом желание превратилось в недостижимую мечту.

И теперь, когда я подхожу к чистому холсту, все чаще и чаще ловлю себя на мысли о том, что мне очень хочется купить корову.

Рисунки Вячеслава ПОЛИЩУКА













Иосеф КАЦ

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ТОРА И Я", ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИНСПЕКТОРОМ ЕВРЕЙСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЫВШЕГО КУРФЮРШЕСТВА, НЫНЕ РЕСПУБЛИКИ ШПИНЕНС-БЕРГ.

Сегодня, 2 октября 1933 года, я, Йосель Кац, обмакнув перо в чернила, приступаю к сочинению на тему, предложенную инспектором еврейских учебных заведений Республики. Прежде всего, осмелюсь сообщить, я не совсем согласен с предложенным Вами названием. Это, на мой взгляд (возможно, неверный), звучит несколько кощунственно. Кто, в конце концов, я? Земля, прах, пыль под ногами. Да, из праха создан Адам, хотя душа в нем от Б-га; но даже при таком условии разве можно ставить в одну строку землю и Дар Небес - Тору?

И что же всё-таки такое Тора? Свиток пергамента? Ветхий Завет? Засаленная книжонка в руках ешиботника, отпечатанная полвека назад где-нибудь в Вильно? Нет, господа! Тора нечто другое. Это сверхъестественная сила, которая смогла сохранить нас, евреев, как народ, как единое целое. Моисей получил Тору много тысяч лет назад, и до сих пор Тору, как и вообще евреев, помнят и поминают - где добрым словом, где не очень. В чем же феномен?

А феномен в нас самих. Мы сохранили Тору, Тора сохранила нас. Не так ли? Израиль никогда, даже в самые древние, славные для него времена, не был сверх державой, эдакой "стальной империей". Нет, я не смею подвергать сомнению славу царств Давида и Соломона, но (и с этим нельзя не согласиться) Вавилон, Ассирия, Рим, Египет были куда богаче и сильнее. И что же? Ассирия и Вавилон пали, пали Египет и Финикия, пал всесильный Рим. Исчезли некогда существовавшие народы - ассирийцы, шумеры; нынешние итальянцы вряд ли потомки древних римлян. Пал и Израиль - а евреи есть. Они не затерялись, не исчезли, не погибли, вот они - мы.

Что же за народ - евреи? У всех они на устах - евреи, исраэлиты, бней-Яков, жиды, иудеи... Стоп! "Иудеи" - так было записано в паспортах моих родителей лет двадцать назад, когда Республика (тогда еще курфюршество) была губернией Российской Империи. Иудеи - это самое главное.

Я осмеливаюсь открыто заявить: какой-то особой еврейской расы не существует. Хотя кто-нибудь обязательно скажет: "еврейская внешность". Какая нелепость! Если ашкенази и сефарды действительно внешне похожи (и преславутые носы!), то йеменские евреи и фаллаши из Эфиопии - совсем не похожи на них. А индусские "бени-Исроэль"? А евреи Китая?.. Список можно продолжить.

Чистокровные евреи - тоже звучит несколько странно. Погромы и резня всегда сопровождались насилием. Но даже в самые мирные времена, там, где евреев не загоняли в гетто, например, в Нидерландах, - разве там не было смешанных браков? Нет у евреев и общего языка. Иврит забыт нами в рассеянии. Объявить языком евреев идиш - нелепо. Кто говорит на идиш? Я, мои родственники, знакомые, община, евреи Республики, а так же России, Польши, Германии. Одним словом - ашкенази. Сефарды говорят на ладино. Так, может быть, язык евреев - ладино? А язык бухарских евреев, выходит, еще один претендент? Нет, нет и нет! К сожалению, пока еще иврит делает робкие шаги к возрождению. Я верю, он вновь станет нашим живым, литературным, подлинно народным языком. Но пока он - язык религии, прежде всего.

Тут мы подошли почти к самой разгадке. Религия - вот что спасало нас и спасает, объединило и объединяет. Не евреи создали иудаизм (хотя такую, извините, глупость мне приходилось слышать), но иудаизм создал евреев.

Вправе ли мы считать подлинно евреями братьев Иосифа, продавших родного брата в рабство, или тех, вышедших из Египта, которые отлили в пустыне золотого тельца и поклонялись ему? Можно ли представить еврея, не соблюдающего Десять Заповедей? Кем станет он тогда? Саббатианцем, франкистом, выкрестом, но останется ли он и его дети евреями? Дарование Заповедей и Торы - вот что превратило толпу египетских рабов в новую, уникальную в жестоком мире Древнего Востока, нацию.

Я повторяюсь, но именно Тора стала той силой, которая объединила нас. Не сам Моисей писал "под диктовку" Ха-шема, нет - буквы, подобно звездам, падали с небес на землю и сгорали, едва коснувшись ее. Написанное на свитке - лишь тень истинной Торы, лишь отблеск Её. И никто на белом свете не покажет вас сейчас подлинный Текст Торы, ведь буквы, слова - это неизбежно - пусть раз в тысячу лет, но могли быть перепутаны, или неверно поняты малосведующим, невнимательным писцом. Конечно, описки были ничтожны, они не исказили смысл текста, но все-таки это даже не тень, дарованная Моисею на горе Синай.

...Иногда, когда в субботу в синагоге читают Недельную Главу, я замечаю нечто странное. Поверьте,господин инспектор, и не сочтите меня сумасшедшим, но я вижу, как от свитка Торы, лежащего на столе, отделяется другой, сияющий серебряным светом - он парит под самым потолком синагоги, его свет ослепляет меня и словно вливается в меня, правильнее сказать, моя душа вливается в этот серебристый свет. Вот она, в моем понимании, истинная "Алия ха-Тора" - "Восхождение к Торе". К истинной Торе!

...Идет 1933-й год. В мире нет покоя. В Германии, до которой от нас, как говорится, рукой подать, к власти пришли национал-социалисты. Их вождь Гитлер позвал немцев домой. И немцы едут - Германия действительно их дом.

Тора зовет нас в Иерусалим - там наша Земля Обетованная, но нас там никто не ждет. Наш исход отодвигается из века в век. Немцы строят свое счастье, изгоняя нас. Для нашего счастья гнать некого - наше счастье навсегда утеряно. Много столетий назад. Найдем ли мы его когда-нибудь? Зато у нас есть мечта и надежда. Нас, народ без земли, нельзя завоевать, - нас можно только уничтожить. Но души убитых вознесутся ввысь, вспыхнут и зажгутся серебристым светом. Сиянье их сольётся с сиянием Торы и усиленный в триллионы раз свет затмит все несправедливости - там, далеко внизу, на земле. Людям внизу это сияние не дано будет увидеть, да и не нужен им этот свет - у других народов есть свои государства, армии, вожди. А у нас Тора - наша родина, наш закон, наше правительство. И пока сияет Ее серебристый свет - мы существуем.

Таллинн

"Рождался я несколько раз, в разных временах и странах. Последний раз - в Таллинне, в году 1977-м. Там же ныне и живу, учась в XI классе Таллиннской еврейской школы. Мутными зимними днями, в промежутках между уроками и сном, сочиняю. Несколько страниц вы уже прочитали." (Иосеф КАЦ)

Ави СНАЙДЕР

АРМЯНЕ, ЕВРЕИ И ИИСУС

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Когда поезд тронулся, мужчина, сидевший напротив меня, улыбнулся и сказал:"Ну, вот, наше путешествие начинается".

Я улыбнулся в ответ и кивнул. - Меня зовут Армен, - представился мой попутчик.

- А меня Ави.

- Что это за имя? - Еврейское имя, - объяснил я.

- Так вы израильтянин? - удивился он.

- Нет, я американец.

- И вы еврей? - Да, я еврей за Иисуса.

Самые разные чувства пронеслись по лицу Армена, и я решил кое-что объяснить ему прежде, чем он начнет спрашивать.

- Мы верим, что Иисус - Мессия нашего народа и Спаситель всех людей. Мы верим, что он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы верим, что все люди - евреи и неевреи - должны верить в Иисуса, чтобы получить отпущение своих грехов.

Мой сосед молчал, не зная что ответить. Но вскоре продолжил разговор.

- Знаете, у армян и евреев так много общего...

Он выглядел как человек, желающий сказать что-то приятное, но не находящий нужных слов. Но я мог представить, о чем он думает.

Да, у евреев и армян много общего. Но, к сожалению, эта похожесть - печальные страницы истории, не самые легкие для воспоминаний. И армяне и мы знаем, что значит быть меньшинством среди враждебно настроенного большинства. И армяне и мы знаем, что значит гибель миллионов сестер и братьев. И армяне и мы знаем, каково быть народом-изгнанником, народом-беженцем. И все-таки есть перекресток истории, где судьбы обоих народов сошлись - когда перед ними предстал Йешуа ха-Машияху - Иисус Христос.

ЙЕШУА (ИИСУС ХРИСТОС), ЕВРЕЙ

Каждый, кто читал Новый Завет, знает, что Иисус из Назарета был евреем. Он родился от еврейской матери, соблюдал Еврейский Закон и традиции, учил в синагогах, Его называли "равви". И все Его первые последователи, включая апостолов, были евреями.

Иисус вошел в историю еврейского народа в тот момент, когда евреи пребывали в ожидании прихода обещанного Искупителя-Мессии. Но Иисус не был похож на того, кого они ждали: вместо всесильного Царя, способного повергнуть в прах врагов, Он явился как исполнение тех слов Писания, которые говорят о смиренном, страдающем Божьем Слуге, полагающим Свою жизнь во искупление грехов многих людей. За семь веков до того, как Иисус ступил на эту землю, еврейский пророк Исайя так повествовал о Мессии: "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши... ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь... Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем"... (Исайя: 53:5,8,12).

Евреи ждали Искупителя, который избавил бы их от ига Рима. Вот почему, когда Иисус входил в Иерусалим в последнюю неделю своей земной жизни, тысячи евреев радостно провозглашали Его долгожданным Царем-Мессией. Но как морской прилив сменяется отливом, так и великая надежда обернулась горьким разочарованием: преданный учеником, Он предстал пред судом еврейских и римских властей. До того, как истекла неделя, Иисус из Назарета был распят. Горстка последователей похоронила Его в саду, в высеченном в скале гробу.

Однако, к началу следующей недели все изменилось, разочарование отступило перед новым рвением, укрепившимся вестью, что Иисус воскрес из мертвых, как и предсказано в Писании. Его воскресение могли подтвердить многие, видевшие Его в течении последующих сорока дней. И ко времени еврейского праздника Шавуот-Пятидесятницы (пятьдесят дней после Пасхи) группа боязливых учеников превратилась в горячих проповедников Мессианства Иисуса.

МЕЖДУ СРЕДИЗЕМНЫМ, ЧЕРНЫМ И КАСПИЙСКИМ МОРЯМИ

Мечта о восстановлении Еврейского Царства под властью праведного Царя-Мессии оставалась самым сильным желанием для первых последователей Иисуса. В разговоре с Ним, спустя сорок дней после Его воскресения, один из них спросил: "не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" (Деян. 1:6).

Несомненно, что ответ Иисуса удивил многих: "не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до краев земли." (Деян. 1:7,8).

По сути Иисус повелел распространить Евангелие дальше и глубже, чем позволяло национальное и географическое понимание древнего Израиля. И это также являлось исполнением пророчества: "... мало того, что Ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли". (Исайя. 49:6,7).

Возможно, одним из тех, кто слышал слова Иисуса и принял их близко к сердцу, был апостол Варфоломей. Согласно традиции, повиновение Господу привело его в северную Армению, тогда как Фаддей - более ранний последователь Иисуса - принес христианство в южную часть страны. Как неуютно, должно быть, чувствовали себя эти евреи среди чужого народа, говорящего на непонятном языке, культура которого так сильно отличалась от еврейской культуры. И насколько необычно было для них нести весть о еврейском Мессии неевреям! Думали ли они о том, как примут их армяне? Мы не знаем. Но известно, как горячо принял армянский народ слово Иисуса. Юная христианская церковь Армении выстояла, хотя подверглась суровым гонениям: во время правления Арташеса, в дни Хосрова и, наконец, в царствование Трдата III (298-330), который свирепо преследовал христиан, но впоследствии сам стал христианином и в 301 году провозгласил христианство религией Армении.

Послание Иисуса Христа укоренилось в армянской земле и в сердце армянского народа.

ПРОБЛЕМА С ИИСУСОМ

Великое преображение мира, творимое христианством вот уже два тысячелетия, помогает понять и тот факт, почему в последние десятилетия многие евреи пересматривают свое отношение к Равви из Назарета. И в то же время у евреев есть проблема с Иисусом.

Одну из них мучительно пытались решить еще современники Иисуса. Он говорил о Себе не только как о Мессии, - Он заявлял, что равен Богу и требовал к Себе отношения, по праву принадлежащего Царю Вселенной. Это и была проблема многих. Хотя, конечно, это не только "еврейская проблема", - она человеческая. Но, так или иначе, Иисус прямо говорит нам: "Я есть путь, истина и жизнь, никто не

приходит к Отцу, как только через Меня" (Иоанн. 14:6). "Я и Отец - одно..." (Иоанн. 10:30).

Если эти слова ложны, мы можем спокойно игнорировать их. Но если они - истина, тогда каждый из нас должен разобраться с этим сам, и принять решение. Хватит ли у нас мужества верить, не стыдясь? Можем ли мы верить, что Иисус действительно умер во искупление наших грехов и воскрес из мертвых? Есть ли у нас смелость, отвернувшись от наших грехов, последовать за Ним, несмотря ни на что?

Ответить на эти вопросы очень непросто, но необходимо.

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

У евреев и армян есть свои проблемы с Иисусом... Евреи гордятся, что он - еврей; иногда мы думаем, что это мы дали Его миру. Армяне горды, что их страна стала первой, признавшей христианство государственной религией.

Но Его послание совсем не похоже на конверт, который можно достать из почтового ящика. Веру не получают, - к ней идут. И даже если одним вопросом мучаются миллионы, ответ все равно должен быть только личным. Недостаточно сказать еврею: "Он был одним из нас!" Недостаточно сказать армянину: "Мы уверовали в Него одними из первых!" Каждый человек должен спросить себя: "Кто Иисус Христос для *меня*?"

Иисус говорил, что он Мессия, умерший за грехи мира и воскресший из мертвых. Он говорил о власти, данной Ему с Небес - прощать нам наши грехи и даровать вечную жизнь. Он призывал нас покаяться, уверовать в Его распятие и Воскресение, верить в Него, как Господа нашего.

И если мы искренне будем следовать Его завету, только тогда, как сказал мой попутчик, наше путешествие начнется.

Ави СНАЙДЕР - мессионер движения "ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА" в США И СНГ. Если после прочтения этих заметок, у вас появятся вопросы, обращайтесь по адресу: 125047 Москва, А/я 201.

ПИСЬМА

НЕСКОЛЬКО БЛАГОДАРСТВЕННЫХ СЛОВ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ

Армяно-еврейский вестник, выходящий на русском языке. Что это такое? Как и для чего под одной обложкой оказались проблемы, боль, произведения литературы, история двух в общем-то мало связанных (по крайней мере в наше время) народов? По какому признаку произошло объединение, и что, кроме пережитого геноцида, послужило связующим звеном? Эти вопросы, и раньше мелькавшие при чтении очередного номера "НОЯ", особенно четко и серьезно выросли передо мной на юбилейном вечере в московском Доме литераторов 18 мая, посвященном двухлетию вестника.

В череде выступавших армян и евреев, сменявших друг друга в течении почти двух часов, отмечалось завидное единодушие: большая часть из них, забыв о самом журнале, отдали предпочтение проблемам своих народов, причем мало кто смог удержаться от националистических нот в выступлении. Только благодаря председательствующему - Владимиру Микушевичу, разговор периодически возвращался к вестнику, но вскоре вновь переходил на стезю чисто национальных проблем. В эти неполные два часа я отчетливо понял, в чем заключается ценность журнала "НОЙ", и почему он подвергается жестоким нападкам со стороны армянских и еврейских националистов, не говоря уже об антисемитах.

Дело в том, что благородная задача сохранения национальной культуры не только сложна, она крайне опасна: культурно-просветительские цели исподволь, незаметно, но довольно быстро вытесняются националистическими. И иллюстрацией тому был юбилейный вечер. Как же вестник в течение двух лет удерживается в национально-просветительских рамках, оставаясь незапятнанным националистической копотью? По моему мнению, этому способствуют две особенности журнала, которые, впрочем, тесно связаны между собой.

Первая особенность заключается именно в том, что вестник посвящен проблемам не одного, а двух народов, а потому ни армянские, ни еврейские мотивы не могут выглядеть *самыми* главными в мире: наличие в журнале проблем второго народа делают речь каждого из них более терпимой даже по отношению к самым яростным своим сегодняшним оппонентам (чтобы не сказать - врагам).Возникает некоторый противовес, способствующий сохранению равновесия над пропастью национализма.

Вторая особенность журнала та, что АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ вестник выходит на РУССКОМ языке. И в этом глубокий смысл - эстетический, психологический, исторический. Хотелось бы подчеркнуть, что в редком современном издании так явно проявляется любовь и уважение к языку, как в "НОЕ".

Красивый литературный русский язык, объединивший "армянские" и "еврейские" публикации, служит мощной защитой от узколобого национализма. Кроме того, русский язык выполняет еще одну важнейшую функцию. Исторически сложилось, что огромный пласт армянской и в еще большей степени еврейской культуры русскоязычен; он существует объективно, он не может быть отражен и сохранен в переводе на "родной" язык. Конечно, этот пласт можно считать результатом ассимиляции, но хотелось бы предостеречь: отказ от русскоязычной части культуры обоих народов приведет, в конце концов к фальсификации истории, результаты чего нам хорошо известны.

В заключение хочу сказать "спасибо" редакции "НОЯ" за то, что в бушующем море национализма она нашла, вероятно, единственный безопасный путь национальной культурно-просветительской деятельности.

Виталий ГОРОДЕЦКИЙ

ЭТЮД О ГЕНРИХЕ КАСПАРЯНЕ

Приближается 85-летие выдающегося деятеля армянской и мировой культуры Генриха Моисеевича Каспаряна. Для тех читателей, у кого понятие культуры ассоциируется исключительно с литературой, музыкой, театром, живописью, и кто далек от сферы, где ярко воссиял гений Каспаряна, сразу скажем: сфера это - шахматы. И здесь имя Каспаряна

звучит так же весомо и убедительно, как в прочих искусствах имена Аветика Исаакяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна, а в самих шахматах - Тиграна Петросяна. Потому что Каспарян - непревзойденный корифей шахматного этюда, этой своеобразной и тонкой области шахматного искусства, корифей, ставший таковым за много лет до того, как получил право называться еще и патриархом.

Что такое шахматный этюд? В отличие от шахматной партии, это произведение одного человека. И не просто произведение, а произведение искусства. Тем, кто сомневается, напомним, что создание этюда, этюдное творчество именуется композицией, а сам создатель - композитором. И еще напомним, что основоположник отечественной школы шахматного этюда А.Троицкий в свое время был удостоен звания "заслуженный деятель искусств".

В каждой области человеческой деятельности есть фигуры, которые символизируют вершины, демонстрируют грандиозные высоты творческих достижений и становятся в итоге классиками. Каспарян - классик этюдной композиции.

Его достижения в этюдном творчестве необычайны и вряд ли могут быть превзойдены. Несколько десятков побед в конкурсах самого высокого ранга, в том числе четырежды - в чемпионатах СССР по этюдам. Слово "чемпион" плохо прилагается к искусству, но ведь шахматы ещё и спорт, а Генрих Моисеевич - ещё и заслуженный мастер спорта. Когда в 1972 году было впервые введено звание международного гроссмейстера по шахматной композиции, то ещё до установления норм для получения этого звания оно сразу, honoris causa, было присвоено четырем выдающимся композиторам мира. Среди них был Каспарян. Один из немногих композиторов он является также и международным мастером в практической игре.

Он первый чемпион Армении по шахматам (1934); это звание он завоевывал десять раз, однажды (1938) разделив его с Александром Долуханяном, ставшим известным композитором, и дважды (1946,1947) - с Тиграном Петросяном.

Каспарян - автор десятка книг, каждая из которых стала бесценной для любителей и ценителей этюдного жанра. Его этюды - удивительный, особый мир. Глубина его замыслов поразительна, им сделано много замечательных открытий в неисчерпаемой сокровищнице этюдных идей, количество созданных им шедевров намного превышает количество полученных призов. Наряду с глубочайшим содержанием этюда Каспаряна отличает филигранная форма, красота решения, знакомство с ними доставляет подлинное эстетическое наслаждение. Это ли не признак высокого искусства?

За плечами у Генриха Моисеевича - большая и прекрасная жизнь. Он - участник Великой Отечественной войны, имеет награды. К сожалению, осень его жизни пришлась на непростую пору в истории армянского народа. Но даже в столь трудное время Генрих Моисеевич продолжает творить, его творческий потенциал по-прежнему высок. Совсем недавно в N 9-10 журнала "64 - Шахматное обозрение" за 1994 год опубликован его прекрасный этюд. Пожелаем же Генриху Моисеевичу большого творческого долголетия, крепкого здоровья, пожелаем надежды и счастья его родине - Армении. Пусть знает Генрих Моисеевич, что его творчество любимо и высоко ценимо всеми почитателями шахматного искусства - этой большой и неотъемлемой части мировой культуры.

С днем рождения Вас, Генрих Моисеевич!

Читатель журнала Борис БЕЙНФЕСТ.

ШЕКСПИР, ШЕЙЛОК И "ВРАЧ-ВРЕДИТЕЛЬ"

Я прочитал в "НОЕ" пьесу Самуила Алешина "Дело врачей" и вспомнил куда более знаменитое произведение.

"Придя в театр, вы можете смеяться или плакать. Но если вы не смеялись и не плакали, значит, плакали ваши денежки!" Не знаю, смеялась ли лондонская публика на премьере пьесы Шекспира "Венецианский купец", но современный еврейский читатель открыв эту, возможно, самую парадоксальную шекспировскую пьесу, если и не заплачет, то вряд ли избавится от ощущения смутной боли.

Если "Венецианский купец" - комедия, то она поистине комедия превращений: красавица-невеста превращается в изощренного иезуита, злодей Шейлок становится старцем, несущим в себе груз тысячелетней скорби, а сама комедия вдруг разверзается ужасной пропастью. Четвертое действие что-то смутно напоминает... Может, процесс Дрейфуса? Дело Бейлиса? Сотни других подобных "дел"? И сходство тут вовсе не случайно, ибо именно одно из них - "дело доктора Лопеса" - и вызвало к жизни пьесу.

Родриго Лопес, крещеный еврей из Португалии, был знаменитым врачом. Спасаясь от инквизиции, он бежал в Англию, где быстро сыскал

известность среди влиятельных особ. Со временем он стал лейб-медиком королевы Елизаветы.

В 1593 году граф Эссекс, бывший так же покровителем "труппы лорд-адмирала", с которой работал Шекспир, узнал о заговоре против дона Антонио - жившего в Лондоне - претендента на португальский престол. Граф Эссекс был уверен, что заговор возглавил доктор Лопес, самая влиятельная персона в португальской диаспоре. В 1594 году лейб-медика арестовали. Однако следствие не нашло свидетельств его вины, и королева повелела графу прекратить "дело". Но упрямый царедворец решил доказать свою правоту.

Вскоре два португальских дворянина, "признались", что Родриго Лопес - агент испанского короля. Что и требовалось графу Эссексу. "Я раскрыл ужасную измену, - спешит он сообщить Бэкону. - Целью заговора была смерть Её Величества. Исполнить замышленное надлежало доктору Лопесу. Средством назначался яд."

Позднее в испанских архивах нашли бумаги, доказывающие невиновность Лопеса. Но тогда ничто не смогло спасти несчастного от ложного обвинения. Палачи заставили его оклеветать себя. Суд приговорил доктора к смертной казни, однако королева, пытаясь сохранить жизнь своему лейб-медику, приказала отложить исполнение приговора. Между тем процесс над Лопесом вызвал волну антисемитизма: о злодее Лопесе судачили в тавернах, сочиняли песни, театры спешно пополняли репертуар юдофобскими представлениями. Театр "Роза" возобновил постановку злобной пьесы Кристофера Марло "Мальтийский еврей". В такой ситуации Елизавета I вынуждена была дать согласие на казнь.

7 июля 1594 года Родриго Лопес взошел на эшафот. Будучи христианином, он поклялся именем Иисуса Христа, что всегда хранил верность королеве. Ответом ему были вопли и хохот толпы. Старого доктора казнили, как государственного изменника: повесили, но тут же перерезали веревку, затем оскопили, вспороли живот и четвертовали. Еще долго в Англии не утихали антисемитские страсти, тем более поразительные, что евреи были изгнаны из страны еще три века назад, Лопес был едва ли не единственным евреем в королевстве. Вот на такой волне общественного интереса в 1596 году состоялась премьера "Венецианского купца". Но пьеса, призванная потворствовать низменным страстям черни, со временем стала вызывать в зрителях совсем иные чувства. И сам образ Шейлока претерпел метаморфозу - он мало чем напоминает рыжеволосого урода с крючковатым носом, который появился на подмостках "Глобуса". Он все дальше отдалялся от своего прототипа, обретя собственную жизнь. "Самая суть Шейлока в его

могучем и трагическом еврействе, - пишет английский историк Д.Стрэчи - доктор же Лопес был европеизированный выкрест, жалкое, худосочное создание, и погиб он не от того совсем, что себя противопоставил иноверному окружению, но от того, что чересчур в нем растворился."

Остается добавить, что граф Эссекс пережил доктора Лопеса на семь лет, и был обезглавлен в 1601 году - за организацию заговора против королевы, на этот раз настоящего.

Андрей ЛЕРНЕР



ПОРТРЕТЫ ПРАВЕДНИКОВ НА ИЗРАИЛЬСКИХ ПОЧТОВЫХ МАРКАХ.

Мне думается, что в Израиле следовало бы выпустить серию почтовых марок с портретами людей, которые в годы Катастрофы протянули руку помощи евреям.

Вот кого бы я считал достойными этой чести.

Датский король *Христиан*. Дания была оккупирована немцами, но король оставался главой государства. В ночь на первое октября 1943 г. по его инициативе и под его руководством, были переправлены датскими рыбаками в нейтральную Швецию евреи Дании в количестве 7300 человек.

Генерал ***Франко***, правитель Испании. В начале 1941 года Гитлер требовал выдать ему евреев, живших в Испании, но это ему не удалось. Тогда Гитлер стал настаивать на введении в Испании законов типа нюрнбергских. Франко и на это не пошел. Все испанские евреи были спасены.

Более того, Франко распорядился, чтобы его представители в странах Европы выдавали местным евреям документы, подтверждавшие их будто бы испанское гражданство. В Испании, кроме того нашли приют бежавшие из Франции 30000 евреев.

Фельдмаршал ***Маннергейм***, глава Финляндии. Во время Второй мировой войны она была союзницей Германии. Несмотря на это, фельдмаршал не выдал Гитлеру финских евреев.

Японский консул в Литве в 1940 году ***Симпо Сугихара***. Выдал евреям, бежавшим из захваченной немцами Польши, 6000 транзитных

виз, владельцы которых получили право пересечь транзитом территорию СССР для въезда в Японию и другие страны востока.

Немец ***Оскар Шиндлер***, спасший во время Второй мировой войны 1200 евреев. Он набирал на свою фабрику заключенных из лагеря в Краковском гетто (Польша) и, раздавая миллионные взятки нацистам, сумел сохранить жизнь всем своим рабочим-евреям и их семьям.

Шведский дипломат ***Рауль Валленберг***. Спас тысячи евреев, раздавая им подложные документы о якобы шведском подданстве, и сам погиб в советском ГУЛАГе.

Первый секретарь объединенного сальвадорского консульства в Румынии, Венгрии, и Словакии ***Георг Мандель-Мантелло***. Выдавал евреям Восточной Европы фальшивые документы, спас жизнь 10 тысячам человек.

Итальянский генерал ***Витто Альчезе*** приказал не пропускать через итальянскую зону оккупации Югославии поезда с югославскими евреями, которых немцы из своей зоны пытались вывезти в лагеря уничтожения.

Итальянский консул в Солониках (Греция) ***Гуэльфо Замбони***. Снабдил поддельными паспортами 280 евреев, которых нацисты собирались отправить в Освенцим.

Лейтенант советской армии ***Пронягин Павел Васильевич***, командир партизанского отряда в Брестской области. По своей инициативе, в ночь со 2 на 3 августа 1942 года напал на местечко Коссово, где находилось гетто, и освободил около 200 узников, в том числе стариков, женщин, детей, которые вместе с партизанами покинули город. История Великой Отечественной войны не знает ни одного еще такого случая.

Рабочий рижского порта (Латвия) ***Жанис Липке***.В годы Великой Отечественной войны спас 52 еврея.

Почтовые марки с портрётами праведников народов мира стали бы памятником этим героям.

И.ГОРЕЛИК Миннеаполис, США

От редакции: Присоединяясь к предложению И.Горелика, хотели бы дополнить этот список двумя достойнейшими именами - ***Эмиль ЗОЛЯ*** и ***Владимир КОРОЛЕНКО***.

ЭТО ТО, О ЧЕМ МИР ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ВСЕГДА

Как сообщило агенство "Ассошиэйтед пресс", 27 апреля правительство Израиля впервые сделало заявление, в котором осуждается геноцид армян 1915 года. Тем самым положен конец традиционному молчанию по этому вопросу, которое сохранялось израильской стороной с целью не беспокоить своего союзника - Турцию. Заместитель министра иностранных дел Израиля И.Бейлин в ходе своего выступления в парламенте страны заявил, что Израиль готов сделать все для того, чтобы международное сообщество не забыло о геноциде. "Мы всегда будем противиться всем попыткам стереть из памяти эту страницу истории, даже если в политическом отношении это и не будет полезным для нас". Памятники Яд Ва-Шема м мемориал Голокауста напоминают о том, что геноцид армян 1915 года по своим масштабам сопоставим с уничтожением 6 миллионов евреев в годы второй мировой войны.

В то же время Тель-Авив, желая сохранить прежние отношения с Турцией, поскольку она является единственным мусульманским государством, признавшим Израиль, воздержался от официального осуждения геноцида армян. В 1990 году был запрещен показ по государственному телевидению документального фильма о геноциде. Одновременно, комментируя недавнее телеинтервью турецкого посла в Израиле, в ходе которого он сказал, что все жертвы среди армян - это результат первой мировой войны, Бейлин отметил: "Это не война, это результат резни и геноцида, это то, о чем мир должен помнить всегда".

"Республика Армения", 3 мая 1994 г.

ПРАЗДНИК ПЕРЕВОДЧИКА

Джованни БОККАЧЧО (1313-1375)

ИУДЕЙ МЕЛХИСЕДЕК С ПОМОЩЬЮ РАССКАЗА О ТРЕХ КОЛЬЦАХ ИЗБЕГАЕТ БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ, УГОТОВАННОЙ ЕМУ САЛАДИНОМ

Доблестный Саладин, сумевший из простолюдина стать султаном Египта и одержать много побед над сарацинами и христианами, истратил на войны и благоволение своим желаниям все сокровища казны. Однажды, когда ему понадобилось золото, он вспомнил о богатом иудее Мелхиседеке, ростовщике из Александрии, но опасаясь, что просьбой не развязать узел мошны, туго завязанный скупостью, присущей тем, кто дает деньги в рост, Саладин решил перехитрить иудея.

Пригласив ростовщика, он радушно принял его, усадил и сказал:"Почтеннейший, я от многих слышал, что ты весьма мудр и сведущ в делах веры. Поэтому хочу знать, какая вера тебе кажется истинной - иудейская, мусульманская или христианская?"

Мелхиседек, будучи действительно мужем весьма неглупым, сразу понял, что Саладин хочет поймать его на слове. Хорошенько поразмыслив, он ответил так:"Государь, твой вопрос очень хорош, и я раскрою тебе свои мысли, но прежде, если соизволишь выслушать, расскажу одну историю. У некоего богача хранилось среди сокровищ драгоценное кольцо. Он решил отдать его одному из сыновей -в знак того, что признает его своим наследником, коему все остальные должны повиноваться. Со временем также поступил и наследник. Кольцо переходило из рук в руки, пока не оказалось у отца трех прекрасных и доблестных юношей. Они знали о семейном обычае, и когда их родитель состарился, стали выпытывать, кого же он изберет своим наследником. Отец любил всех троих и, не желая обидеть детей, велел искусному ювелиру сделать два драгоценных кольца, неотличимых от первого. Сходство оказалось столь точным, что старик и сам не смог распознать свое кольцо. Умирая, он передал каждому сыну - в тайне от братьев - кольцо. После смерти отца каждый объявил себя

наследником, требуя от братьев послушания, и каждый в доказательство своих прав предъявил отцовский дар - и тут обнаружилось, что кольца совершенно одинаковые, различить их нельзя, и кто наследник, неизвестно. От себя же добавлю, о повелитель: как невозможно было выбрать одно кольцо из трех, так невозможно сказать, какая из трех вер истиннее остальных. Ведь каждый народ считает себя наследником Господа, свой Закон - истинным, свою власть - полученной по Воле Божьей, но, как и с кольцами, дело это до сих пор неразрешимое".

Саладин понял, что ему не удалось поймать Мелхиседека на крючок, и он честно поведал ему о своей нужде, спросив, не может ли ростовщик ему помочь. Мелхиседек дал султану столько золота, сколько тот хотел. Впоследствии Саладин расплатился с ним сполна, да ещё щедро вознаградил, сделал своим другом и окружил почетом...

Пер. с итальянского Анатолия ФРИДМАНА



Джон ДОНН (1572-1631)

СВЯЩЕННЫЕ СОНЕТЫ

От переводчика:

"Священные сонеты" Джона Донна были написаны в 1609-1611г.г. ; только три последние приписаны позже. Это, пожалуй, самые читаемые страницы в наследии классика английского барокко. Парадоксальная образность и интонационная напряженность в них мотивируются религиозным порывом, и это для нынешнего читателя, по-видимому, убедительней, чем любовный порыв или ученый порыв. Их девятнадцать; чтобы ориентироваться в вариациях донновских тем, можно дать им условные заглавия: 1) Бог, 2) Плен, 3) Жизнь, 4) Душа, 5) Мир, 6) Грань, 7) Суд, 8) Отец, 9) Грех, 10) Смерть, 11) Христос, 12) Тварь, 13) Срок, 14) Борьба, 15) Выкуп, 16) Завет, 17) Любовь, 18) Церковь, 19) Покаяние. Они искусно перетасовывают три большие темы: внешнюю (смерть и Суд - 2, 4, 6, 7, 9, 10), внутреннюю (грех и покаяние - 1, 3, 5, 8,), разрешающую (любовь и Христос - 11 - 16); последние, 17 - 19, как сказано, добавлены двадцатью годами позже. Когда я начал переводить эти сонеты, русских переводов их еще не существовало. Теперь они существуют; все же, кажется мне, этот экспериментальный перевод может представить интерес для читателя. Я переводил свободным стихом, без метра и рифмы, чтобы этой ценой точнее передать образы, интонацию и стиль. Конечно, этот свободный стих не совершенно свободен, - все-таки, должно чувствоваться, что за ним стоит сонет. Но о таких подробностях пусть уже судят стиховеды.

М.Л.ГАСПАРОВ

1

Ты меня создал - Ты ли и сокрушишь?
Восставь меня, ибо близок мой конец:
Я к смерти мчусь, смерть мчится ко мне,
А все мои радости - как вчерашний день.

Страшно мне поднять помутившийся взгляд:
Отчаянье за спиной моей, а предо мною - смерть,
В них - ужас, и точит мою слабую плоть
Грех, и груз его - тяга в ад.

Ты один - в выси, и когда хватает сил
Взглянуть в Твою высь, я выпрямляюсь вновь;
Но пытает меня старый лукавый враг,
И ни часа не в силах я быть тем, чем есть.

Окрыли меня благодатью во спасенье от ков,
И сталь сердца моего обрати в алмаз.

2

По всем статьям я отписан Тебе,
Ибо, Господи, сотворил меня Ты,
Сотворил для Себя, а когда я изгнил насквозь,
Ты кровью Своей откупил Свое же добро.

Я - сын Твой, и отблеск Твой - на мне;
Слуга Твой, которому плачено вперед;
Овца Твоя; образ Твой; и пока я - Твой,
Я - храм Твой, в котором Твой божественный дух.

Почему же на меня посягает враг?
Почему идет на кражу, идет на взлом?
О, встань, поборая за право Творца,
И да не отчаюсь я, вдруг узрев,

Что Ты любишь нас, но не выберешь меня,
А дьявол ненавидит, но не выпустит меня.

3

О, воротить бы мне в глаза и в грудь
Каждую траченую слезу и вздох,
Чтобы я в святой тревоге сменил
Праздную скорбь на плодную скорбь!

Идолам служа, сколько мук я окупил
Сердцем, сколько ливней излил из глаз!
Страдание было моим грехом,
И вот за страданье я страдаю вновь.

Жаждущий пропойца, неспящий вор,
Зудный блудодей,щекотливый гордец
Умягчают памятью былых отрад
Наставшее горе; и только мне

Вызволенья нет: безмерная боль -
И причина и следствие, и грех и казнь.

4

Душа моя черная! На тебя встает
Вестник и поборник смерти, недуг.
Ты - как странник, бежавший от вины
И которому нет обратного пути;

Ты - как вор, что рвется вон из тюрьмы,
Пока не прочитан последний приговор;
Но как названа смерть и назначен срок,
Он ищет защиты у тех же стен.

Покайся - и не минет тебя благодать;
Но без благодати - и каянья нет.
О, будь черна, но черна святой тоской
И красна стыдом, как была - грехом;

Или нет: омойся в Христовой крови -
И из красной купели выйдешь бела.

5

Я - малый мир; и во мне свились
Четыре стихии и ангельский дух;
Но черный грех и его и их
Предает на смерть в бесконечную ночь.

Вы, открывшие за высью небес
Новые сферы и новый простор,
Влейте мне в очи ваши новые моря,
Чтобы я потопом оплакал мой мир

Или потоком его омыл.
Но нет: его ждет не потоп, а пожар,
А он уже выжжен сквозь похоть и злость,
И стал лишь скверней; отгони же их огни

И сожги меня, Господи, в ревнительном пылу
О Тебе и Твоем Доме, - ибо жар сей целит.

6

Последний акт моей драмы; верста
Последняя странничьего пути;
Тщетной скачки последний прыжок,
Последний вершок; минуты последний миг, -

И расторгнет во мне пожирающая смерть
Душу и плоть, и настанет дальний сон,
А бдящая часть моя узрит тот лик,
Пред которым и днесь сотрясает меня страх.

И когда душа возлетит в родную высь,
А земная часть в земной воротится дом,
Будь каждому свое: вы, давящие грехи,
Исчадия ада, ниспадите в ад.

Чаю оправдания, избывши зло:
Ибо "нет" говорю я вам, - мир, плоть, бес.

7

По мнимым углам округлой земли
Трубят ваши трубы, о ангелы, и встают
Из смерти несчетные тьмы и тьмы
Душ, облекаясь в прах своих тел.

Вы, кого пожар и кого потоп,
Голод, годы, горе, война, тиран,
Кого случай скосил и кого закон,
Вы узрите Господа, и смерти вам нет.

Но продли им, Боже, сон, и продли мне плач,
Ибо больше греха на мне, чем на них,
И поздно молить о благодати Твоей
В тот час неземной; научи же меня здесь

Покаянью; и будь на прощеньи моем
Твоя, Господи, кровь, как красная печать.

8

Если праведные души во славе своей
Ангелам равны, то и мой отец
Видит с небес и блаженствует вдвойне,
Как смело я шагаю над жерлом твоим, ад.

Но если даже им раскрывается наш дух
Лишь косвенными знаками, и видима в нас
Наружная явь, а не мгновенная суть, -
Белизну моей правды постигнут ли они?

Они видят: любовник о идоле своем
Источает слезы, богохульник зовет
Господа в свидетели, фарисей
Лицемерно набожничает. О,душа,

Обратись же ко Господу: лишь Ему твоя скорбь
Зрима, - ибо Сам Он вложил ее мне в грудь.

9

Ядовитый камень, древесный плод,
Нас, еще несмертных, бросающий в смерть,
Похотливый козел, завистливый змей -
Все бессудны пред Тобою, а я - судим?

Разум ли мой или воля моя
Делает неравным мой равный грех?
Милость легка, и ею славен Господь;
Почто же на мне Его грозный гнев?

Но кто я, кто, что дерзаю во спор,
Господи, с Тобою? Не Твоя ли кровь
И не слезы ли мои слились, чтобы смыть
Небесною Летой мой черный грех?

"Помни!" - как о долге, Тебе твердят;
А я, как о милости, молю: "Забудь!"

10

Смерть, не гордись, что тебя зовут
Страшной и мощной: ты не такова.
Те, кого тщеславишься ты попрать,
Бессмертны, жалкая; и бессмертен - я.

Твои подобия, покой и сон,
Источают отрады, а ты - вдвойне;
Все лучшие наши спешат к тебе:
Ты - отдых плоти их и воля душе.

Над тобой - рок и случай, злодей и царь,
Дом твой - отрава, война, болезнь;
Но и мак, и наговор усыпят нас верней,
Чем твой удар; так о чем же твоя спесь?

Ненадолго наш сон, а бдение - навек.
Там - не будет смерти: там - смерть тебе, Смерт

11

Плюйте в лицо мое, пронзайте мне бок,
Избичуйте, осмейте, взгвоздите на крест, -
Ибо грех - на мне, грех - на мне, а Он,
Не умевший неправды, умер за меня.

Но и смерти мало для моей вины:
Нечестивее мой грех, чем иудейский грех:
Ими - бесславный единожды, а мной -
Воссиявший во славе повседневно казним.

Дайте надивиться мне чудной Его любви!
Царь лишь милует нас, а Он принял нашу казнь.
Так Иаков облекся в косматый мех, -
Но его в заемный облик влекла корысть;

А Господь облекся в бренную плоть затем,
Чтобы слабостью подпасть под смертную боль.

12

Почему нам, малым, служит всякая тварь?
Почему все стихии мне и жизнь и корм
Расточают вволю? Ведь они меня
И чище, и проще, и святей!

Зачем ты клонишся, нéзнающий конь?
Зачем так бессмысленно, кабан и бык,
Ваша мнимая слабость дается под удар
Тем, чья вся порода - на один ваш глоток?

Я слабей вас (горе мне!) и хуже вас -
Ибо вы не грешили, и страх вам чужд;
Но есть чудо чудеснее, чем то, что нам
Тварная природа покоряет тварь, -

Ибо сам безгрешный и бессмертный Творец
За нас, тварей, нас, врагов Своих, принял смерть.

13

А вдруг эта ночь - последняя в бытии?
О душа моя! В сердце, где твое жилье,
Выпечатлей образ распятого Христа
И скажи, ужасен ли этот лик,

Чьи слезные очи источают дивный свет,
Чей лоб струится кровью от терновых ран:
Этот ли язык тебя аду обречет,
Моливший о прощеньи злобе лютых врагов?

Нет, как каждой подруге твердил я встарь,
Идолопоклонствуя земной любви:
"Красота - знак милосердия, мерзость - знак
Бессердечия",- так я ныне Тебе

Твержу: злые силы и на вид грустны,
А где светел Лик - там милостив Дух.

14

Бей в мое сердце, трехликий Бог!
Этот взлом, вздох, свет, - он вольёт мне сил
Восстать над собой и попрать себя,
Чтоб Твой горн, мех, млат вжег мне новую жизнь.

Я - как город, в котором враг,
Я рвусь впустить Тебя, но нет, не могу:
Разум, Твой наместник, был мне оплот;
Но он - в плену, он - неверен, он - слаб.

Я Тебя люблю, я хочу Твоей любви,
Но я отдан в обет Твоему врагу;
Разлучи нас, разорви, разруби нашу связь
И похить меня к Себе, в небесный острог,

Ибо - в узах Твоих - свобода моя,
И моя чистота под насилием Твоим.

15

Рвешься ль ты о Господе, как Он - о тебе?
Уясни тогда, душа моя, целебную мысль:
Бог-Дух, кого ангелы небесные поют,
Свой храм утвердил в твоей земной груди;

Бог-Отец, от кого рожден блаженный Сын
(И вечно рождается, ибо начала им нет),
Снизошел избрать тебя Себе в сыновья,
Сонаследником славе и субботе Своей;

И как обокраденный свое добро
Должен, сыскав, потерять или откупить,
Так Сын Его славы сошел на казнь
Вызволить нас, тварь Свою, из краж Сатаны.

Дивно, что был человек, как Бог;
Но пуще - что Бог стал, как человек.

16

Отче! долей прав на царствие Твое
Сын Твой делится с малым мной:
Он, совместник Троицы, тройного узла,
Дарит мне победу, поправшую смерть.

Агнец, чья смерть даровала миру жизнь,
Он, заклаемый от начала веков,
Двумя заветами отписал Свое
И Твое наследство Твоим сынам.

Но строг Твой устав, и не молкнет спор:
Посильны ли условия людским трудам?
Пусть и нет, - но кого буквой убил закон,
Духом воскрешает целящая благодать.

Твой краткий закон, Твой последний завет
Есть рубеж любви; о, да властвует любовь!

17

С тех пор, как та, которую я любил,
Роду и природе отдала последний долг,
И добро мое - в гробу, и душа ее - в раю,
Мой ум вперяется лишь в небесную высь.

Обожает он - ее, а рвется - к Тебе,
Господи, к Тебе, как к истоку струй;
И я Тебя нашел, и Ты меня напоил,
Но святая жажда меня плавит вновь и вновь.

Можно ли искать полнейшей любви?
Ты сосватал наши души, все приданое - Твое;
Но Ты боишься, что расточу
Я любовь мою вышним ангелам и святым;

И больше: Ты тревожно и нежно ревнив,
Что Тебя из нас вытесняет мир, плоть, бес.

18

Яви мне, Иисусе, невесту Свою
В свете и блеске! На чужом берегу
Не она ли красна? Не она ли в нищете
Страждет и стенает в Германии и здесь?

Спит тысячу лет и пробуждается в год?
Истинная - и блуждает? Новая - вдруг стара?
Прежде, ныне, после - явлена ли она
На холме? на семи? или вовсе не на холмах?

С нами она? или мы ее должны,
Рыцарски странствуя, доискаться для любви?
Добрый супруг, открой нам лик жены,
К горлице Твоей влюбленную мою душу взвей, -

К той, что тем вернее и милее Тебе,
Чем больше отдается в объятия всех.

19

Два несходства сходятся меня терзать:
В непостоянстве зачато постоянство мое.
Против естества и воле вопреки
Переменчива моя благость, переменчив обет.

Покаянье мое - как мирская моя любовь,
Забавно и забвенно в недолгий час:
В нем ни веса, ни меры; в нем холод и жар;
Мольба и немота; бесконечность и ничто.

Вчера я не взглядывал в небо; а теперь
Обхаживаю Господа в лести и мольбе;
А завтра трясусь перед Его жезлом.
Эти приступы веры - как прибой и отбой

Вздорной горячки; но знаю я одно:
Тем лучше мне день, чем больнее во мне страх.

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ

МЕНЯ ОСТАВИЛИ ЖИТЬ

Глубокая ночь, время самой вязкой ее власти. Монотонные ритмы долгого марша расслабляли, укачивали и редко какому звуку удавалось выделиться в толще однообразных звуков движения колонны и пробиться в изнуренное, заторможенное сознание идущих. Сон скашивал, гнул, сокрушал. Шли давно. Пора быть привалу, давно пора, уже давно невмоготу, но шум идущих в темноте людей расползался цепкой заразой - давил, стирал, выматывая последние силы, а привала все не было и не было.

Но вот далеко за спинами наконец что-то прозвучало. Никто толком не разобрал, что за команда, кто кричал и вообще был ли крик, хотя те, кто его слышал - затаился, притих - ждал его повторения, жадно надеясь услышать "Стой, привал". Топот сотен ног вытеснял измученное ожидание. Мысли о другой какой-нибудь команде в отяжелевших, набрякших головах - не возникало. Однако вскоре, ясно и четко приближаясь, послышалось: "Остерегись, не спать, возьми вправо". И легкая повозка, запряженная двумя лошадьми, резко прогромыхав, ушла вперед. Лошади не по-ночному неприятно громко фыркнули, словно давали сигнал, боясь наскочить на кого-нибудь в темноте. "Тоже не железные, поди, силы тоже, поди, на исходе". В повозке, за спиной беспрестанно кричащего ординарца высохшим крючком промелькнул

силуэт командира баталь-она, он вообще крючковат, будто ему всегда холодно и развалясь рядом с ним, кто-то - судя по безвольно мотающимся из стороны в сторону коленям - спал. "Скачут вперед, чтоб остановить голову колонны, по себе должно быть почувствовали, что - пора". С этой мыслью было как будто светлее и легче, может быть потому, что других вообще не было, а она хоть и одна единственная, но честно и добросовестно выполняла свою работу - заставляя двигаться, моторно тащила вперед.

Темные спины впереди метались тенями, удаляясь, то вновь оказывались совсем близко и резкий запах давно немытых тел с тяжелым сопением заполнял собой сознание и все вокруг, и даже ощущалось тепло рядом идущих. Бормотание каких-то странных, незнакомых слов неясной звуковой круговертью, надоедливо вползало в сознание. Пришла мысль: нужно помедленнее или даже несколько приостановиться, а потом опять качнуть себя вперед - чтоб не отстать. В какие-то моменты ожидание привала, придя вновь, вдруг оборачивалось ожесточением и надсадной ношей оседало в душе, и только темнота лесной дороги казалось, была неизменной и бесконечной, как-сама дорога.

Очевидно, та минута была одной из последних минут, когда я еще мог соотносить себя, ночь, дорогу в лесу и все еще ждать, ждать привала, и импульсивно переставляя ноги, все же двигался вперед, не опасаясь, пока вот-вот рухнешь подкошенным снопом, когда поднять тебя по существу уже не будет никаких сил. Еще какие-то совсем малые мгновения и я действительно свалился бы, зайдясь в подступившей истерике и, чтоб хоть как-то противостоять этому, задрав голову, заверещал: "Не могли передние уйти так далеко, не могли, должны же они, наконец остановиться когда-нибудь и дать... дать отдохнуть, лечь".

Кажется, откуда-то сверху, куда я только что невольно излил всю горечь накатившего приступа бессилия, ответили: "Лечь, где? Лес, снег, темнота". Не взяв в толк, что возражаю какому-то другому, совсем иному миру, все так же гнило пропищал: "Все равно, все равно - лишь бы лечь, остановиться и лечь".

- Помочь, тяжело тебе? - теперь прозвучало совсем рядом над ухом, оглядываюсь... никого?

- Вижу ты не веришь, а я действительно готов помочь. - Двумя шагами впереди меня, несуразно мотаясь, тащил себя худой, длинный, как вешалка, славянин... Он брел нескладно, вероятно его так вело, и в те короткие моменты, когда он оказывался вывернутым в полуоборот ко мне и успевал выложить свои дурацкие наставления, что-то очень бледное, длинное, как полено, маячило там, где у него должно было

быть лицо... и лишь когда голые кроны деревьев уступали место темным разрывам - продыхам между ними, это "что-то" оказывалось чахоточно-длинным клином лица.

- Чем поможешь, потащишь мой автомат, или меня самого?

- Зачем такая крайность? Она, надеюсь, тебе не понадобится. Да и никакая это не помощь, а так... минутная жалость, даже не сострадание - обман... Любит человек, чтоб его пожалели...

- Что ты несешь всякую х.... вот я издохну сейчас, прямо здесь, на дороге, и к чему тогда вся твоя сраная философия?

- Самому уходить из этого мира никогда не следует, об этом позаботятся другие. Видишь ли, ты попросту не прав, ты - хочешь идти и спать - так не бывает.

- И совсем я не хочу идти - я хочу спать и ничего больше, только спать, спать, спать...

- Такая определенность замечательна и похвальна, но сейчас требуется идти, правда, значит надо идти, а спать будем, когда придём и что тут толковать - не понимаю. Я, к примеру, не молод, как ты и сил у меня намного меньше, а вот, как видишь - иду и не скулю, не ною на судьбу, не жалуюсь, наоборот, рад - иду в тыл... значит, скоро отдохну и высплюсь.

Я пытался разглядеть эту "жердь". Никогда раньше в нашем подразделении я такого не видел. Длиннота его не могла не обращать на себя внимание. Он был худ, как я, но еще головы на пол-торы, а то и все две выше, длиннее...

Этот удивительный рост... и память властно относила меня на Днепровский плацдарм, где моя собственная удлиненность едва не оказалась причиной гибели. Немцы точными артналетами перебили нашу связь, протянутую по дну протоки (со штабом полка,не то дивизии - точно не помню), а об обстановке на плацдарме надо было докладывать высшему начальству, находящемуся на острове посредине Днепра и из подразделения выбирали самых рослых, чтобы они пёрли вброд, под обстрелом, то и дело погружаясь с головой в воду, держа над ней пакет со страшно секретными данными.

Если тебе повезет пройти самый глубокий, а оттого самый трудный участок протоки, и выбежав из воды, сверкая голым задом, нестись по совершенно открытому, пологому, как хороший пляж, песчанному берегу до какого-нибудь овражка или ямы, хотя бы просто залечь за нестерпимо воняющие вздутые туши лошадей, перевести дух и опять бежать до следующего укрытия, а там, глядишь, и до спасительного леса.

В одну из таких увеселительных прогулок выбрали меня и одного (небольшого роста) бойца из какого-то, как помнится, соседнего подразделения. Ничего не объяснив, нас привели в землянку начальника штаба полка, поставили рядом, приказали мне поднять руки вверх. Ничего не подозревая, думая, что и здесь продолжается вечное подтрунивание над моим ростом и худобой, я глупо тянулся в эдакую несуразную оглоблю, но кажется, именно эта нелепая вытянутость произвела впечатление на офицеров; они едва ли ни хором сказали: "О-о-о, здорово". И именно в тот момент, когда они так дружно "проокали", в их глазах я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность или вернее: "Жаль ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить..." - и все понял.

- Вот пакет, доставить в штаб на острове. Через протоку ты идешь первым, ты старший, он... - офицер показал на того плотного парня, молча с интересом наблюдавшего мои упражнения, - тебя подстрахует, если что... ранят тебя, захлебнёшься, или ...

- Эта заминка, это его "или" не вызвали во мне ни героического порыва, ни самозабвенного вдохновения, скорее, напротив. Я пересохшим вдруг горлом пытался было объяснить, что сейчас утро, все просматривается как на ладоне, у немцев брод пристрелен и он бьет по нему не только навесным минометным огнем, но и прямой наводкой... К тому же вчера мы имели возможность наблюдать подобные, дневные попытки через протоку и оба посланных связных у середины брода были растрелены.

- И потом, - продолжал я увещевать по-доброму слушающего меня, кажется понимающего все, напутство-вавшего нас начальника, - он совсем маленький, он захлебнется у берега, - показал я на моего низкорослого подчиненного, - а там не меньше двух метров. я думаю, а местами так и поглубже; вчера те двое... не знаю, вы посылали их или нет, но не прошли же - мы видели.

Вообщем, всячески убеждал, как мог убеждать восемнадцатилетний человек, страшно желавший жить - говорил, что подобное задание, кроме нашей гибели, ничего не принесет, что попросту мы будем следующими, кто у середины протоки пойдет ко дну. Говоря все это, я поражался молчаливости офицера, его терпению.

- Вот поэтому сегодня идете вы в таком соотношении, - мягко прервал меня офицер,- он без оружия и повторяю, если что... он доберется вплавь, он - прекрасный плавец, именно поэтому он и идет. Как видишь, мы все учли и исправляем ошибки вчерашнего.

Видя, должно быть, что "плавец" осознал наконец ситуацию и собирается что-то сказать, офицер все так же мягко, как и раньше, но

как-то уж очень отчужденно произнес: "Да-а, вот так!" Сейчас смеркается рано, может лучше переждать пару-тройку часов, а то ведь так... - начал было до того безмолствующий, но вдруг ставший страшно серьезным и с какими-то уж очень умными глазами мой помощник.

- Вы же знаете, у него все пристрелянно по этому броду, ночью он бьет с еще большей плотностью, чтоб не допустить возможного подкрепления нам... так что из двух зол... Все, там ждут, выполняйте.

Офицер смотрел куда-то вбок. Мы еще какое-то время стояли и я увидел, как мой боец рядом чуть развел руками, они мелко мелко дрожали и как бы спрашивали: "Как же это?"- и услышав - "Вернётесь - доложите, за вашим переходом протоки буду наблюдать сам." - опустил их.

Мы вышли.

Затея была обречена, это понимали все. Мой напарник, едва войдя в воду был ранен. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела, такое указание тоже было, и где-то у середины протоки, захлёбываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как боец, странно разбрасывая руки, боком, будто споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Я что-то пытался крикнуть ему, это было глупо, бесполезно - грохот разрывов усилившегося обстрела (ребята у миномётов видели, что я пока все еще жив и наплаву уходил) заглушал все вокруг.

Пройдя глубокую часть протоки, я, оглядываясь на бегу, пытался схватить взглядом пройденный участок брода, но никого уже не было, - моего напарника или снесло течением или он утонул; из-за какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом... но берег и протока были тоскливо пусты.

Тот дурацкий пакет я доставил, меня даже представили к награде медалью "За отвагу", правда, вручили её мне спустя сорокдевять лет прямо на сцене МХАТа, после спектакля "Мольер". Мои однополчане москвичи (их осталось раз-два и обчелся) сами разыскали все документы по этому награждению и в реляции (так, кажется, называется подобный документ) был кратко, по-казенному, описан этот нелепый, вобщем-то никому не нужный (я и сейчас так думаю) эпизод. На острове мне разрешили задержаться до наступления темноты и в свое расположение я вернулся ночью. Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие и все, кто видел, как калашматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. "Ну, везет тебе, длинный. Счастливчик, хоть и доходяга".

И теперь, когда в прозрачном сумраке ночи то проявлялась совсем рядом, то исчезала вовсе фигура этого действительно длинного и столь же разговорчивого человека - я наверное знал: будь он тогда на нашем небольшом платцдарме, без сомнения протоку проходил бы он вместо меня и никому тогда и в голову не пришло бы заставлять его поднимать руки. Мысль, что в протоке купалась бы эта долгая, болтливая каланча, показалась почему-то смешной и отвлекла меня. Неожиданно белесые глаза человека, только что мотавшегося бледным призраком в студеной протоке Днепра, оказались у самого моего носа и уставились в меня. Голова колыхнулась несколько раз в такт шагам, вознеслась куда-то и от туда сплошным потоком понеслось невесть что о каких-то концах, которые в конце концов... наконец, к концу... в конце... конец.

Но я уже ничего не соображал и плохо слышал, отвлеченный тем, что только что колыхнулось передо мной. Какие... мутные уши... и размер... ничего себе... ничего подобного никогда не видывал... они были куда выразительнее этой его необычной долготы, вцепившись в них взглядом, я тем не менее услышал нечто, что многое объяснило.

- Никто и ничто не обходятся без меня. Я - всюду, Я - везде, Я - был, Я - есть, Я - буду, потому что Я - и присно и во веки веков!

Очень хотелось встрять и сказать "Аминь", но стало неуютно вдруг и немножко страшновато... было совершенно ясно - рядом сумашедший, как же это я раньше не догадался? А в армию-то его зачем же взяли? А-а-а, он должно быть уже на фронте свихнулся... он же здесь перебьёт всех своих нахрен! Сумашедший, совершенно определенно... уши, уши мутные - первый признак! О, с ним надо по-осторожнее... не то неравен час, влепит не за что ни про что и ищи ветра в поле, не случайно он все присматривался ко мне... вот они - уши! И тут вроде его опять подзарядили на ходу: "Без меня человечество - вонь, грязь, плесень и чесотка, я его отмываю, делаю чистым, свежим, бодрым, способным на добрые дела и все еще, надеюсь, достойным моего внимания."

Оставаться дальше безучастным было не безопасно, выбора не было и, легонько сторонясь его, я деликатно согласился с ним: "Да-да, понимаю, товарищ... потому что Вы - Господь Бог!"

- А вот и не угадал, но близко... потому что я - варю мыло! я - главный технолог мыловаренному заводу з мисту Николаеву. Ты був там? Це моя батьковщина - гарне мисто!"

Все услышанное о мыловарении было столь неожиданным, что очевидно, пытаясь свести это открытие к простому и реальному и определить, кто все же из нас двоих ненормальный, я остановился.

- Во, бачишь, хлопче, яка сила слова - ты встал, это так и должно быти... потому что, вначале было слово и слово было у Бога и слово

было Бог, а потом уж появилось мыло, человечество и все остальное со всякими там семью парами чистых и нечистых которых нужно было мылить, мыть, чесать и гладить, иначе не было бы никакого мыла и, что самое огорчительное, не было бы нас с тобой. Как пусто, правда, и печально?

Совершенно запутавшись и перестав вообще что-либо соображать, я теперь решил по-доброму попросить его больше ничего не произносить - ни единого слова, потому что для того, чтобы осознать все произносимое им, тоже ведь нужны силы и не малые, а поскольку...

- Теперь давай вместе, повторяй: Я - червь...

Словно прося пощады, я выдохнул:

-Я что-то не могу понять,о чем ты все время говоришь... и почему это я вдруг стал каким-то червем?

- Ну, что ж тут непонятного, повторяй за мной и иди в ногу: "Я - червь, Я - раб, раз-два, Я - царь, три-четыре, Я - Бог, пять-шесть и опять раз-два, Я - червь.

- Ну, хорошо, хорошо, Я - червь, араб Мафусаил... все равно ничего не понимаю.

- О-о-о, это непонимание и есть первое проявление очеловечивания, даже можно сказать, что ты на пороге сознания... А вот сейчас тебе будет совсем хорошо, именно это состояние когда-то совсем не дурно определил Декарт, он говорил: "Я мыслю, следовательно,я существую!"

И он чем-то очень холодным, освежающим, даже не спрося ничего, протер мое лицо и запах далекой, спокойной жизни приятно ударил в нос. Не знаю, не то он меня добил, не то я сам сломался, но я даже не испугался его проделки и, наконец, разглядел, что же творится с его ушами... и был огорчен - это какие-то большие нахлобучки, которые только имели форму ушей, но были много больше, и этот странный мутный цвет и все это совсем не хитрое сооружение уходило под пилотку, оставляя действительно очень узкий абрис лица.

Светало... привала, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, давила с новой силой. За спиной вдруг что-то произошло. Обернувшись, успел заметить мотнувшуюся с дороги тень и треск в бессильной злобе разбитого о дерево котелка (как потом выяснилось - полного молока) слился с истошным воплем солдата: "Что хотите делайте, дальше не пойду, не могу" - мгновение мы растерянно топтались на месте и горохом сыпались на снег и дорогу. Отбежав пяток шагов от "мутных ушей", я рухнул на землю.

Солдат катался по земле и истошно орал. Все молчали. Дорогу и небольшой редкий лесок у обочины заполонили собой кашель и тяжелое рваное дыхание. Все всё понимали и тем не менее,

благославляли эту минуту, позволившую наконец рухнуть, вытянуть ноги, дышать...

Появился лейтенант, молча уставился и, присев, старался поймать солдата, гладил его по спине, по стриженой голове и как-то уж уныло твердил: "Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше". Было противно на душе, всего какими-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это, только я не заорал, вот и вся разница. И не я ли своим писком невольно подтолкнул этого любителя молока на его вопль и конвульсии?

И опять мы шли. "Мутные уши" с мылопроизводства перекинулся на виноделие. Вдруг спросил:

- Ты любишь виноград?

- Где ты возьмешь его сейчас?

- Ты меня или не слышишь или я тебя переоцениваю и если хотя бы одно из предположений подтвердится - никакого винограда ты, конечно, не получишь... Итак, я еще раз повторю вопрос: "Ты любишь виноград?"

- Люблю. - Обилье вдруг хлынувшей слюны делало меня покорным. Прекрасно! повторяй за мной: Вайн-трауб... Вайн-трауб.

- А что это такое: Вайн-трауб?

- Это и есть виноград и моя фамилия; мы с ним однофамильцы, он - виноград и я - виноград, он везде и я - всюду, я тебе уже об этом как-то говорил.

- Ну, виноград... это я понимаю, а ты-то почему всюду?

- Потому что я делаю мыло, после хлеба и вина мыло - продукт первой необходимости... Итак, повторяй и шагай: Вайн-трауб, раз-два, Мендель - Блок, три-четыре...

- А это что еще такое?

- Мендель - это мое имя, а Блок - вторая моя фамилия, в отличии от моего родного брата, тоже Мендель Блок, здесь уж ничего не поделаешь - местячковая еврейская ограниченность. И отец у нас Мендель, поэтому я, для пущего смеха, взял себе фамилию матери - Вайнтрауб. Однако мы отвлеклись...

Вскоре за ним пришел запыхавшийся связной и я невольно узнал, что мой новый знакомый еще и переводчик при штабе полка. Пообещав найти меня в месте дислакации, куда мы так долго держим путь, он исчез.

Конечно, это был необычный человек, не сумасшедший, нет, но и обольщаться по поводу его уравновешенности я бы тоже поостерегся.

Однако, как легко и просто он заставил меня навсегда запомнить его фамилию, хотя мы расстались с ним навсегда. Фамилия его вот уже

полвека живет в моей памяти, как пять других фамилий друзей-товарищей, с которыми довелось прожить долгие месяцы фронтовой жизни: Михаил Васильевич Привалов, Николай Георгиевич Степанов, старший лейтенант Кривошеенко (имя, отчество к сожалению не помню), генерал-лейтенант Каладзе, Фомин, правда еще одну фамилию я помню, но не хочу вспоминать ни фамилию, ни самого того мерзкого, страшного человека, он не достоин упоминания даже в обычном перечислении. А вот этого действительно прекрасного, замечательно доброго, нежного человека, кажется не забуду уже хотя бы потому, что он был последним человеком, кто был внимателен ко мне перед тем кошмаром, перд тем адом, о котором я начинаю рассказ...



Умер Смоктуновский. А я был у него три недели назад, 14 июля. Он давал мне читать свои воспоминания о войне, на машинке страниц сто, не меньше. Это была первая часть, вторую он еще не успел отредактировать. Я прочитал рукопись не отрываясь - так все в ней было просто, жутко, бессмысленно и поразительно. И поразил взгляд Смоктуновского на себя самого - тогдашнего девятнадцатилетнего солдата - "доходягу", на тех, с кем он шел в одном строю, на гибнущих на его глазах... с такой нежностью, улыбкой, болью и пониманием, с какой отлетевшая душа, наверное, смотрит на живых, и на свою безжизненную плоть.

Я сказал, что мы напечатаем эпизод о встрече бойца Смоктуновского с бойцом Вайнтраубом.

- А все не можете напечатать?

- Нет, Иннокентий Михайлович. Да и денег у нас столько нет.

- А за это сколько дадите?

Я набрал полную грудь воздуха, чтобы выдохнуть фантастическую для "НОЯ" сумму - двадцать тысяч рублей за десять страниц.

- А ведь у меня напечатано через два интервала, на самом деле не меньше пятнадцати страниц.

- Иннокентий Михайлович, да я бы вам и миллион дал, если б мог!

- А двадцать пять тысяч не дадите? Только вы не подумайте, будто я в нужде и все такое прочее... Ерунда, чтобы народный артист бедствовал. Но я должен думать о семье. А деньги заплатите не скоро?

- Завтра!

Выручил меня Даниил Домбровский - бывший актер, вершиной творчества которого стало исполнение роли Свердлова в картине Бондарчука "Красные

колокола". Теперь он заведует фотосалоном "Битца" в Чертаново. Наш подписчик и друг. Узнав, чем я озабочен, он достал из кармана деньги.

- Срочное пожертвование вестнику. Но целевое - на гонорар Смоктуновскому! Договорились?

Утром, счастливый, я поехал к Иннокентию Михайловичу, и пил с ним кофе, и слушал его.

- Иннокентий Михайлович, я вас очень прошу - подпишите свою фотографию для Фумико Накамура.

Фумико Накамура - японская художница. Специально для Смоктуновского она сделала рисунки к "Гамлету", и послала ему в дар, попросив меня передать в руки самому артисту. Увидев однажды фильм Козинцева "Гамлет", она была так поражена игрой Смоктуновского, что выучила русский язык - чтобы написать письмо любимому артисту. Конечно, ни о какой фотографии Фумико не просила, но Иннокентий Михайлович с радостью согласился, сам выбрал из вороха снимков два, один просто замечательный - он смеется, видно, рассказывает что-то очень смешное. И написал, вдавливая глянец шариком ручки: "Милая Фумико Накамура, это я смеюсь вашему маленькому, но бесконечно симпатичному Гамлету. Спасибо. Иннокентий."

Это письмо с фотографией еще в пути. Как еще очень многое, что Смоктуновский оставил каждому из нас.

Вардван ВАРЖАПЕТЯН

3 августа 1994 г

АРМЯНЕ И ЕВРЕИ

ЦИФРЫ. ДАТЫ. ИМЕНА.

Такой книги еще не было.

Однако, судя по тому, что почти одновременно в Москве вышел первый номер армяно-еврейского весника "НОЙ", а институт Европы полным ходом готовил коллективную монографию "ОТ АРАРАТА ДО СИОНА. Армяне и евреи перед лицом истории" - идея диалога носилась в воздухе. И не одно тысячелетие. Еще с тех пор, когда на самых древних картах мира были Армения и Израиль, и когда сама история, казалось, стерла их с земли, и во все века безгосударственного бытия, рассеяния, геноцида, исхода и восхождения к новой государственности.

Отношения между двумя государствами тем более важны, что Израиль стал как бы задачником, примеры из которого жизнь задает Армении: как строить государственность, как защитить себя, как накормить себя?

Опыт Израиля бесценен для армян, но никаких попыток освоить его не заметно. Нельзя сказать, чтобы и интерес Израиля к Армении был велик. Похоже, обе страны ждут, что строительство моста, способного соединить Ереван с Иерусалимом, начнет кто-то другой. Что ж, начнем строить мост с середины. Эта книга - одна из его опор.

Такой книги еще не было. Теперь она есть. Её выпустило издательство "НОЙ".

КЛАССИКИ XXI ВЕКА

Литературно-издательское агентство Р.Элинина при участии Фонда Поддержки Некоммерческих Издательских Программ готовит к изданию новую серию, подготовленную на базе "Библиотеки неизданных рукописей" и собственного архива рукописей. Название серии "Классики XXI века".

Серия включает четыре раздела:

* - проза
* - поэзия
* - драматургия
* - графика

и планируется к выпуску в течении 1994-1997 годах. Общее количество книг в серии - до трехсот, не включая неизвестных редакций и имен. Объем каждой книги планируется до шести печатных листов. Редактор серии - Р.Элинин. Тираж каждой книги составляет 500 экземпляров с правом переиздания. В настоящее время готовы к производству следующие книги по разделам:

ПРОЗА: -Виктор ЛАПИЦКИЙ. С.-Петербург
-Егор РАДОВ. Москва
-Владимир ЭРЛЬ. С.-Петербург
-Борис ВАНТАЛОВ. С.-Петербург
-Андрей УРИЦКИЙ. Москва

ПОЭЗИЯ: -Михаил ЛАПТЕВ. Москва
-Михаил ЩЕРБИНА. Москва
-Борис КУДРЯКОВ. С.-Петербург
-Андрей ПОЛЯКОВ. Керчь

ДРАМАТУРГИЯ: -Аркадий БАРТОВ. С.-Петербург
-Зуфар ГАРЕЕВ. Москва

ГРАФИКА: -Кристина ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС. Париж
-Андрей ОГАНЯН. Москва
-Леонид ТИШКОВ. Москва
-Борис КОНСТРИКТОР С.-Петербург

Отбор вышеуказанных имен, а также рукописей всего редакторского портфеля производился в течении последних четырех лет силами сотрудников и независимого внештатного экспертного совета, включавшего известных поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов и искусствоведов.

Значительную помощь в составлении серии оказали редактора официальных и самиздатовских периодических изданий.

Редакция агентства обращается ко всем, заинтересованным в реализации настоящей программы, с просьбой оказать возможную материальную и техническую поддержку.

С уважением

Директор агентства Руслан ЭЛИНИН

Директор фонда ПНиП Яков ПЕЧЕНИН



СОДЕРЖАНИЕ

Ованес ТУМАНЯН. О независимой Армении. Пер. Г. Ахвердян. 4
Марк ФРЕЙДКИН. Эскиз генеалогического древа. Повесть. 5
Лидия ОГАНЕСЯН. Герман ГЕЦЕВИЧ.
Ваграм МАРТИРОСЯН. Стихи. 85
Хорхе Луис БОРХЕС. Я еврей. Пер. Б.Дубина. 87
Элиас КАНЕТТИ. Топор армянина. Пер. Г.Туралиной. 88
Мераб МАМАРДАШВИЛИ. Лекция 17. 91
Илья ВОРОНОВ. 10500 парасанг над Землей. Рассказ. 109
Илья ОКАЗОВ. Неотправленное письмо. Рассказ. 115
Вячеслав ПОЛИЩУК. Время радости. Этюды на кухне. 119
Иосиф КАЦ. Тора и я. 133
Ави СНАЙДЕР. Армяне, евреи и Иисус. 136
Виталий ГОРОДЕЦКИЙ. Несколько благодарственных
слов в связи с юбилеем. 140
Борис БЕЙНФЕСТ. Этюд о Каспаряне. 141
Андрей ЛЕРНЕР. Шекспир, Шейлок и "врач-вредитель". 143
И.ГОРЕЛИК. Портреты праведников на израильских
почтовых марках. 145
"Это то, о чем мир должен помнить всегда". 147
Джованни БОККАЧЧО. Иудей Мелхиседек с помощью
рассказа о трех кольцах избегает большой
опасности, уготованной ему Саладином. Пер. Ан. Фридмана. 148
Джон ДОНН. Священные сонеты. Пер. М. Гаспарова. 150
Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. Меня оставили жить. 161



Редактор Вардван Варжапетян
Главный художник Владимир Петров
Обложка художника Марка Ибшмана
Набор и верстка выполнены Ильей Вороновым
и Екатериной Эйдельштейн

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР N 020338 от 26.12. 1991 г.

Подписано в печать
Формат 84x108/ 32
Бумага офсетная
Заказ 129
Цена свободная

113534 Москва А/Я 11

Телефон 386- 25- 63


Ной
נח